

# Цетради ПО КОНСЕРВАТИЗМУ

ISSN 2409-2517

[ № 4 2016 ]

фонд  
ИСЭПИ

Институт  
социально-экономических  
и политических  
исследований

# Альманах

[ Ноябрь 2016 г. ]



# Тетради по консерватизму

[ № 4 2016 г. ]

Москва  
Некоммерческий фонд – Институт  
социально-экономических и политических  
исследований (Фонд ИСЭПИ)  
2016

Рекомендовано к печати  
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет  
Д.В. Бадовский, А.Д. Воскресенский, А.Ю. Зудин,  
А.А. Иванов, Б.В. Межуев, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов,  
Е.Н. Моцелков, Л.В. Поляков (председатель), М.В. Ремизов,  
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников (гл. редактор)

**Тетради по консерватизму:** Альманах. – № 4. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2016. – 156 с.

Очередной номер альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен Николаю Михайловичу Карамзину, 250-летие которого отмечается в декабре 2016 года.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 67506.

© АНО «Средство массовой информации  
Альманах «Тетради по консерватизму»», 2016  
© Некоммерческий фонд — Институт  
социально-экономических и политических  
исследований (Фонд ИСЭПИ), 2016

Леонид Поляков  
Слово к читателю  
7

---

**Основы консервативного дискурса в России**

А.А. Ширинянц, Д.В. Ермашов  
«Хранительство» Н.М. Карамзина  
11

А.Ю. Минаков  
Родоначальник русского консерватизма  
29

Л.В. Поляков  
У истоков российского консерватизма:  
Николай Карамзин и Жозеф де Местр  
40

---

**Отечественная история: с Карамзиным и против**

Н.Н. Лупарева  
История России как консервативный проект:  
Н.М. Карамзин и С.Н. Глинка  
63

А.О. Мещерякова  
Грани консервативного патриотизма:  
Н.М. Карамзин и Ф.В. Ростопчин  
71

А.А. Тесля  
«Русский народ» и «Российское государство»:  
Н.А. Полевой vs Н.М. Карамзин  
81

Е.С. Холмогоров  
Конституция старого народа.  
Историко-политическая концепция Карамзина  
96

***Другой Карамзин: между политикой и метафизикой***

---

*В.В. Ванчугов*

*Политическая грань творчества Н.М. Карамзина*

111

*А.И. Филюшкин*

*Сотворение Грозного царя: зачем Н.М. Карамзину был нужен «тиран всея Руси»?*

123

*Н.К. Гаврюшин*

*Метафизика и историософия в творчестве Н.М. Карамзина*

131

***Рецензии***

---

*М.А. Маслин*

*Консервативный поворот в истории идей*

147

*С.В. Хатунцев*

*Новый Петров-Водкин, или Купание педального коня*

153

## Слово к читателю

Очередной номер «Тетрадей по консерватизму» посвящен Николаю Михайловичу Карамзину, 250-летие которого приходится на весьма значимую в новейшей российской истории дату – 12 декабря 2016 года. В этот день мы отметим и двадцать третью годовщину всенародного принятия Конституции, которая заложила фундамент современной российской государственности. И это совпадение по-особому символично: именно в споре о своевременности и уместности конституционных проектов в самодержавной России два века назад зарождался отечественный консерватизм. Роль и значимость Карамзина в этом процессе весьма существенны – именно он по праву должен считаться основоположником российской консервативной традиции.

Сей самоочевидный факт не оспаривается в узком кругу специалистов. Но это еще далеко не факт нашего национального самосознания, которое строится не только вокруг великих исторических событий и выдающихся политических фигур, но также и непременно на основе преемственности национальной мысли. Такая преемственность не дается сама по себе, она – результат непрестой, неустанной работы с прошлым, которое должно предстать перед нами как *осмысленное* прошлое. Опыт Карамзина в таком осмыслении должен быть адекватно оценен и освоен.

Такая оценка подразумевает, в том числе, сопоставление Карамзина не только с современниками российскими, но также и с фигурами, ставшими впоследствии классиками европейско-американской консервативной традиции. И такое сопоставление показывает, что он вполне «свой среди своих» наряду с Эдмундом Бёрком, Жозефом де Местром, Адамом Мюллером, Александром Гамильтоном и Джеймсом Мэдисоном. Хотя выстраивал свое консервативное кредо в весьма специфических обстоятельствах.

Во-первых, ему, в отличие от европейских и американских собратьев-консерваторов, приходилось решать одновременно две задачи: не только полемизировать с революционно-либеральным прожектерством, но и реконструировать национальную историю. Ибо лишь апелляция к последней и могла придать строгую достоверность и общественную легитимность его консервативному дискурсу. Карамзину действительно пришлось, по меткой характеристике Пушкина, открывать Россию для русской публики, подобно тому, как однажды Колумб открыл Америку для европейцев.



Второе отличие карамзинского вклада в разработку основ и принципов общеевропейской (включающей в себя американскую и русскую ветви) консервативной традиции состоит в том, что ему приходилось противостоять не столько революционным радикалам, покушающимся на традиционный властный порядок, сколько искушениям самой власти. Конституционный проект Сперанского от 1809 года был подготовлен по прямому поручению императора Александра I, и Карамзин, критикуя этот проект, фактически осмелился возражать государю.

Отсюда третья особенность его консервативного наследия. Именно потому, что оно было выражено в знаменитой «Записке о древней и новой России» (1811) и адресовано непосредственно Александру, оно стало известно публике лишь после берлинской публикации 1861 года. В России же «Записка» была опубликована только в 1885 году.

Это последнее обстоятельство высвечивает серьезную проблему, касающуюся нашего общественного развития и роли в нем свободной рефлексии. Один из ключевых консервативных постулатов заключается в том, что общество – это исторически детерминированная целостность, предполагающая в качестве нормы органическое эволюционное развитие. В этом развитии важную роль играют традиции, обычаи, привычки и даже предрассудки (как подчеркивал Бёрк) данного народа. Отсюда – недоверие консерваторов к любым отвлеченно-теоретическим, а тем более априорным схемам и моделям общественного развития.

Но при этом сами консерваторы своей рефлексией обеспечивали то, что можно назвать интеллектуальным компонентом органического развития. Консервативный историцизм оказывался залогом здорового исторического движения. В нашей истории и во времена Карамзина, и значительно позже случались периоды, когда актуализация мысли (не только консервативной) превращалась в проблему. Что и делало российское развитие недостаточно органичным.

Отсюда проистекает особая востребованность в нынешнем контексте всего того из нашего великого мыслительного наследия, что помогает не повторять ошибок прошлого и не сбиваться с пути плодотворной исторической эволюции. В этом отношении Карамзин становится одним из самых востребованных представителей национальной мысли. В президентском Послании к Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года прозвучали такие слова: «И обращаясь к лидерам партий и участникам будущего избирательного процесса, ко всем общественно-политическим силам, хотел бы процитировать выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина. Вот что он писал: “Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, что любовь к Отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше. Но русский должен знать цену свою”».

Возможность сегодняшней адекватной самооценки коренится в способности ценить собственное прошлое. В этом – великий урок Карамзина.



*А.А. Ширинянц, Д.В. Ермашов  
«Хранительство» Н.М. Карамзина*

*А.Ю. Минаков  
Родоначальник русского консерватизма*

*Л.В. Поляков  
У истоков российского консерватизма:  
Николай Карамзин и Жозеф де Местр*

## «Хранительство» Н.М. Карамзина

Сегодня имя Николая Михайловича Карамзина (1766–1826) стало олицетворением русского политического консерватизма и национализма. Но так было не всегда. В свое время замечательный исследователь истории русской культуры Г.П. Федотов в статье «Певец империи и свободы», связывая творчество Пушкина с «основным и мощным потоком русской мысли», отмечал, что «это течение – от Карамзина к Погодину – легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким и органически выросшим. Оно являлось прежде всего реакцией на европеизм XVIII века, могущественно поддержанной атмосферой 1812 года. У его истоков – “История государства Российского...”» [28, с. 159].

Главным негативным итогом европеизации и во многом некритического заимствования европейского опыта явился факт образования в российском обществе двух враждебных складов жизни – факт, подлинность которого подтверждает хотя бы его констатация не только Карамзиным («...высшие степени отделились от нижних...» [13а, с. 292]), но и такими разными по своей политической ориентации мыслителями, как И.В. Киреевский и А.И. Герцен. Первый писал, что царящая в русской жизни заимствованная и «возросшая на другом корне» образованность «...есть главнейшая, если не единственная причина всех зол и недостатков, которые могут быть замечены в Русской земле» [16, с. 181]. Ему вторил Герцен, увидевший среди результатов преобразований Петра I то, что «...императоры отдали на раздробление *своей* России, придворной, военной, одетой по-немецки, образованной снаружи, – Русь мужицкую, бородатую, не способную оценить привозное образование и заморские нравы, к которым она питала глубокое отвращение» [8, с. 115].

Нужно также отметить следующее обстоятельство. Если для большинства образованных людей конца XVIII века вопрос об историческом развитии России решался с позиций того, что Россия постепенно движется по универсальной дороге прогресса, лишь запаздывая на ней по сравнению с другими народами Европы, то уже к началу XIX века идеология Просвещения оказалась скомпрометированной в результате террора Французской революции. В 1795 году Карамзин в статьях «Мелодор к Филалету», «Филалет к Мелодору» выразил и обобщил удивление русских людей и неприятие ими событий, совершившихся во Франции. Характерно, что здесь Карамзин Французскую революцию связывает уже со всей системой европейской цивилизации и европейским типом мышления: «Конец

*Ширинянц Александр Андреевич*, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: jants@yandex.ru

*Ермашов Дмитрий Васильевич*, кандидат политических наук, доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: dm\_em@mail.ru



нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью, что люди, уверяясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни.

О Филалет! Где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своем основании!...

Век просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя; среди убийств и разрушения не узнаю тебя!» [11, с. 70].

В итоге Французская революция явилась тем поворотным пунктом в русском сознании, который поставил под сомнение сами основы европейской жизни и вызвал вопросы о смысле того, чего же достигли европейские народы в своем развитии. «В лице Карамзина... мы видим яркого представителя тех кругов российского дворянства, которые от... заимствования европейского опыта перешли к напряженной рефлексии об исторических судьбах родной страны. Французская революция, несомненно, стимулировала этот процесс и ввела его в консервативное русло» [26, с. 19].

\* \* \*

«Внешняя» биография Карамзина небогата событиями. Он родился 1 декабря 1766 года в Симбирской губернии. Получив первоначальное образование дома, продолжил его в одном из московских частных пансионов, посещал некоторые занятия в Московском университете. Далее последовала кратковременная служба в гвардии, сближение и разрыв с масонским кружком Н.И. Новикова, годичное путешествие по Европе, журналистская и издательская деятельность, а после 1803 года и до самой смерти – работа над многотомной «Историей государства Российского». Вот канва его жизни. Однако творческая эволюция Карамзина как мыслителя и как личности далеко не так размеренна и спокойна.

В отечественной исследовательской литературе долгое время господствовала довольно упрощенная схема эволюции русского историка: либерал и западник – в начале и патриот, консерватор – в конце. Приводились и соответствующие цитаты, подтверждающие «либерализм» или монархизм Карамзина. Но, как справедливо заметил Ю.М. Лотман, настоящий научный поиск не сводится к умению подбирать цитаты. С этой позиции часто цитировавшимся «либеральным» словам Карамзина: «Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для Руских; и что Англичане или Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек!» [11, с. 141], – можно противопоставить следующий отрывок из тех же «Писем русского путешественника» (1791): «У нас всякой, кто умеет только сказать: *comment vous portez-vous?* без всякой нужды коверкает Французской язык, чтобы с Руским не говорить по-Руски; а в нашем так называемом *хорошем обществе* без Французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? За чем быть попугаями и обезьянами вместе?» [11, с. 151].

\* \* \*

Приведенная выше цитата о неумении русских говорить по-русски свидетельствует о том, что первые, пока еще импульсивные, выступления раннего Карамзина против европеизации были сосредоточены в области языкознания и лексических возможностей русского языка. По словам историка К.Н. Бестужева-Рюмина, «в конце XVIII, а особенно в начале XIX века, в эту пору самого сильного разгара русского европеизма, в так называемый образованной среде, древность русская была совершенно неизвестна: место отцовских

библиотек, состоявших из старых рукописей, заняли в боярских палатах собрания французских писателей XVIII века и их английских первообразов, разумеется, во французском переводе; старинное воспитание, с детства приучавшее слух к звукам языка церковно-славянского, ...отошло в область преданий; русские дети с самого нежного возраста залепетали по-французски; многие герои и думали, и говорили по-французски... В высших сферах действуют <...> галломаны, англومانь и даже враги России» [2, с. 206–207].

И в этой ситуации нельзя не оценить положительной роли Карамзина, поведшего литературную борьбу за возвращение к народным началам как в русском языке, так и в русской жизни в целом. Его первая историческая повесть «Наталья, боярская дочь» (1792) начинается словами: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали?» [10, с. 55]. Бурная деятельность писателя по изданию «Московского журнала» (1791–1792), альманахов «Аониды» (1794, 1797), сборников «Пантеон российских авторов» (1802), журнала «Вестник Европы» (1802–1803) имела своим результатом невиданное для усилий одного человека достижение: он сумел, по выражению В.Г. Белинского, «заохотить русскую публику к чтению русских книг» [1, с. 139].

Кредо же Карамзина в эти годы можно выразить его же словами: «...народ унижается, когда для воспитания имеет нужду в чужом разуме»<sup>1</sup>. Особенно возмущало писателя пренебрежительное отношение иностранцев ко всему русскому, и на «мудрое предложение одного ученого немца, сделанного им России», – забыть русский язык, он не нашел для ответа иных слов, кроме лаконичного замечания: «ум заходит за разум»<sup>2</sup>. Карамзин часто сетовал на то, «как мало... моральных характеров между иностранцами в *отношении* к России! Сколько видели мы неблагодарных... едва ли один из двадцати Французов и Немцов, многим обязанных России, говорит и пишет об нас с должною справедливостию и без грубых, оскорбительных предразсудков»<sup>3</sup>. Нужно заметить, что в ответ на подобные оскорбления Карамзин не стал в свою очередь уничижительно высказываться о европейцах. Напротив, ценя все хорошее в России, он ценил его и в других странах. Примером может служить его отношение к англичанам, которые импонировали ему тем, что, в отличие от большинства русских аристократов, они «хотят лучше *свистать* и *шипеть* по-английски с самыми нежными любовницами своими, нежели говорить чужим языком, известным почти всякому из них» [11, с. 236].

При всем этом писатель был чужд крайностей появившихся чуть позднее «шишковистов», которые вслед за своим главой, адмиралом А.С. Шишковым, ратовали за строгое соблюдение норм церковнославянской грамматики в письменной и устной речи. Карамзин же стремился очистить русский язык от громоздких архаичных форм и тем самым добиться его легкости и доступности для как можно более широкого круга российских читателей.

\* \* \*

Важное место в творческой биографии Карамзина заняло издание журнала «Вестник Европы» (1802–1804) – первого политического журнала в России,

<sup>1</sup> Карамзин Н.М. О новых благородных училищах, заводимых в России // Вестник Европы. 1802. № 8. С. 364 [5].

<sup>2</sup> Карамзин Н.М. Мудрое предложение одного ученого Немца, сделанного им России // Вестник Европы. 1803. № 11 [5].

<sup>3</sup> Карамзин Н.М. Об известности литературы нашей в чужих землях // Вестник Европы. 1803. № 15. С. 197 [5].

для которого характерно критическое отношение ко многим сторонам европейской политической и экономической жизни. «Вестник Европы» и предшествовавшая его изданию работа «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1801–1802) интересны еще тем, что в них мы впервые видим более или менее сложившуюся систему консервативных «хранительных» воззрений Карамзина, построенную им в виде откликов на европейские события.

Основным предметом политических размышлений Карамзина в период 1790–1803 годов был главный факт всемирной истории XVIII века – Великая Французская революция. Он понимал, – если не на уровне причин, то на уровне следствий, – что «Французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха» [14, 2, с. 96]. Пристально всматриваясь в это «явление», Карамзин пришел к выводам, позволившим ему сформулировать базовые принципы своей идеологической позиции, напрямую коррелирующей со взглядами первых европейских консерваторов: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. *Утопия [или Царство Щастия]* сочинение Моруса – *Примеч. Н.М. Карамзина*] будет всегда мечтою доброго сердца, или может исполниться неприметным действием времени; посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их щастия добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот... Легкие умы думают, что все легко; мудрые знают опасность всякой перемены, и живут тихо» [11, с. 135–136]<sup>1</sup>.

Карамзин так же как, например, автор книги «Размышления о революции во Франции» (1790) Э. Берк, главные причины революции усматривал в стремлении «новых политиков» утвердить во Франции модную представительную систему, «следствие долговременного просвещения»<sup>2</sup>, осуществить желание «мечтательного равенства», которое в итоге всех французов делало «равно несчастливými»<sup>3</sup>. Критическое отношение русского писателя к политическому перевороту во Франции сопровождалось одновременно и неприятием стоящих за ним якобинских правил, отрицанием идеологии «осьмого-на-десять века, слишком рано названного *философским*»<sup>4</sup>. Эта, позволим себе сказать так, «нефилософскость» XVIII века, заключающаяся, по мысли Карамзина, в утопичности и излишней претенциозности умственных проектов просветителей, была доказана самой революцией, которая «объяснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства; что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти; что самое турецкое правление лучше анархии, которая всегда бывает следствием государственных потрясений; что все смелые теории ума, который из кабинета хочет предписывать новые законы нравственному и политическому миру, должны остаться в книгах вместе с другими, более или менее любопытными про-

<sup>1</sup> Карамзин Н.М. Письма русского путешественника // Карамзин Н.М. Избранные труды. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 135–136.

<sup>2</sup> См.: Карамзин Н.М. Обзорение прошедшего года (Из немецкого журнала) // Вестник Европы. 1803. № 4. С. 306 [5].

<sup>3</sup> Карамзин Н.М. Всеобщее обозрение // Вестник Европы. 1802. № 1. С. 78 [5].

<sup>4</sup> Там же. С. 83.

изведениями остроумия; что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума; что одно время и благая воля законных правительств должны исправить несовершенства гражданских обществ; и что с сею доверенностию к действию времени и к мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и делать все возможное добро вокруг себя» [11, с. 248].

\* \* \*

Из критики, направленной против рационалистической философии просветителей, органично вырастают взгляды Карамзина на республиканскую форму правления. В этой связи В.О. Ключевский тонко подметил, что сочувствие Карамзина республиканскому правлению (в «Марфе-Посаднице») – «влечение чувства, не внушение ума: политические и патриот[ические] соображения склоняли к монархии, притом к самодержавной» [17, с. 276–277]. Как считал Карамзин, революционная попытка французов воплотить в жизнь республиканские идеалы «сделала многих... почти варварами»<sup>1</sup> и обернулась созданием нового рода «Монархии, ограниченной только пустыми формами»<sup>2</sup>. Этот факт, по мысли писателя, еще раз свидетельствует в пользу той истины, что «или людям надлежит быть Ангелами, или всякое многосложное Правление, основанное на действии различных волей, будет вечным раздором, а народ несчастным орудием некоторых властолюбцев, жертвующих отечеством личной пользе своей» [12, с. 101]. Поэтому-то провозглашает Карамзин устами князя Холмского в повести «Марфа-Посадница» (1803): «Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок, а нет порядка без власти самодержавной» [14, 1, с. 545] и «Не вольность, часто гибельная, но *благоустройство, правосудие и безопасность* суть три столпа гражданского счастья...» [14, 1, с. 583].

Таким образом, в антипросветительских взглядах, основанных на анализе европейских событий, видятся также и корни карамзинского монархизма. «Не за тем оставил человек дикие леса и пустыни; не за тем построил великолепные грады и цветущие села, чтобы жить в них опять как в диких лесах, не зная покоя и вечно ратоборствовать не только с внешними неприятелями, но и с согражданами; что же другое представляет нам История Республик? Видим ли на сем бурном море хотя единый мирный и счастливый остров? Мое сердце не менее других воспламеняется добродетелию великих Республиканцев; но сколь кратковременны блестящие эпохи ее? Сколь часто именем свободы пользовалось тиранство и великодушных друзей ее заключало в узы?» – вопрошает Карамзин в «Историческом похвальном слове Екатерине II» [12, с. 100].

По мнению В.О. Ключевского, «в спорах о лучшем образе правления для России он [Карамзин – Авт.] стоял на одном положении: Ро[ссия] прежде всего д[олжна] быть великою, сильною и грозною в Европе, и только самодержавие может сделать ее таковою. Это убеждение, вынесенное из наблюдения над пространством, составом населения, степенью его развития, международным положением России, К[арамзин] превратил в закон основной исторической жизни России по методу опрокинутого исторического силлогизма: самодержавие – коренное начало русского государственного *современного* порядка; следов[ательно], его развитие – основной факт русской исторической жизни» [17, с. 277].

<sup>1</sup> См.: Карамзин Н.М. Важный самозванец во Франции // Вестник Европы. 1803. № 11. С. 219 [5].

<sup>2</sup> Карамзин Н.М. Обзорение прошедшего года (Из немецкого журнала) // Вестник Европы. 1803. № 4. С. 306 [5].

\* \* \*

По убеждению Карамзина, преимущество монархии перед республикой заключается не только в том, что «единая, нераздельная, державная воля может блюсти порядок и согласие» [12, с. 100] в обществе, но и в том, что монархическое правление «не требует от граждан чрезвычайностей, и может возвышаться на той степени нравственности, на которой Республики падают»<sup>1</sup>. И если в «Письмах русского путешественника» Карамзин весьма сочувственно отзывался о нравах жителей швейцарских кантонов, то в период «Вестника Европы» он писал уже о «моральном падении Гельвеции». Писатель, присмотревшись к жизни Швейцарии, вместо «народной добродетели» увидел разгул «личных страстей, злобного и безумного эгоизма»<sup>2</sup>, вместо идеальной республики – правление нескольких богатых землевладельцев и мещан, а вместо силы действия демократической конституции – господство золота и «торгового духа».

Эти наблюдения позволили Карамзину охарактеризовать сущность современного ему европейского сознания одной формулой – «вся Философия состоит теперь в Коммерции»<sup>3</sup>. Иными словами, объектом критики русского мыслителя с этого момента стал не только один из основных принципов европейского либерализма – индивидуализм, но и сопутствующие ему принципы свободной торговли и свободы действий.

Непримирение новых капиталистических отношений, проникнувших в самые основы устройства многих западных республик, вылились на страницах «Вестника Европы» в саркастические и порой беспощадные оценки буржуазного образа жизни. Так, в статье «Известие о нынешнем состоянии Республики Рагузы» Карамзин отмечает, что в некогда славной своей умеренностью области «исчезли истинные граждане: остались одни купцы, для которых железный сундук был идолом, контора отечеством, любовь к богатству единственным чувством»<sup>4</sup>. В заметке «Общества в Америке» он указывает на «дух торговли» как главную причину того, что «все стараются приобретать. Богатство с бедностью и рабством является в разительной *противности* (contraste)»<sup>5</sup>.

Следствием всего этого, предсказывал Карамзин, будут неизбежные конфликты и военные столкновения между государствами: «Может быть, я обманываюсь; но мне трудно верить бескорыстию нового купца – и народа, который начинает вновь торговать»<sup>6</sup>. И как раз в столкновении экономических интересов Англии и Франции он находил одну из основных причин политического противостояния этих стран в начале 1800-х годов.

Интересна в данной связи также статья Карамзина «Английская промышленность», в которой автор, описывая подготовку англичан к войне, выделял в качестве одного из признаков английской «купеческой системы» такое явление, как (воспользуемся современной терминологией) милитаризация экономики: «Всякий лавочник хочет торговать вещами, потребными для воинского стана, и находит способ иметь двойной барыш. Любопытно

<sup>1</sup> Карамзин Н.М. Швейцария // Вестник Европы. 1802. № 20. С. 320 [5].

<sup>2</sup> Там же. С. 319.

<sup>3</sup> Карамзин Н.М. Новая политика // Вестник Европы. 1802. № 3. С. 7 [5].

<sup>4</sup> Карамзин Н.М. Известие о нынешнем состоянии Республики Рагузы // Вестник Европы. 1802. № 17. С. 60 [5].

<sup>5</sup> Карамзин Н.М. Общества в Америке (Перевод с манускрипта) // Вестник Европы. 1802. № 24. С. 315 [5].

<sup>6</sup> Карамзин Н.М. Что выгоднее для Европы в нынешнюю войну: падение Франции или Англии? // Вестник Европы. 1803. № 21–22. С. 120 [5].

видеть, как все механические искусства пользуются тем случаем для своей выгоды»<sup>1</sup>. Как полагал Карамзин, основой такого рода деятельности была «новая политика» европейских стран, суть которой сводилась к эгоистичным и циничным лозунгам: «О граждане, граждане! сперва деньги, а после добродетель!»<sup>2</sup>.

Итак, демонстрируя растлевающую роль духа торговли, Карамзин убеждал русских читателей, что стяжательство и жажда богатства губят добродетели, что буржуазные отношения уничтожают человеческую личность и вносят раздор и вражду в жизнь обществ и государств.

\* \* \*

И еще одну проблему, которую поднимал на страницах «Вестника Европы» Карамзин, нельзя, на наш взгляд, обойти вниманием. Речь идет о пропаганде издателем журнала чувств патриотизма и «народной гордости». Стремление Карамзина оградить Россию от духовного влияния революционного буржуазного Запада привело его к необходимости создания и осуществления программы, если так можно выразиться, патриотического воспитания граждан. Обыкновенные русские люди, заявлял Карамзин, в отличие от англоманов, галломанов и прочих космополитов, не могут «парить умом выше низкого Патриотизма»; «мы стоим на земле, и на земле Руской, – писал он, – смотрим на свет не в очки Систематиков, а своими природными глазами»<sup>3</sup>, и поэтому нам вовсе не нужно следовать советам «иностранных глубокомысленных политиков», которые, «говоря о России, знают все, кроме России» [11, с. 270].

Заявив, что «россияне одарены от природы всем, что выводит народы на высочайшую степень гражданского величия» [11, с. 255], Карамзин поставил перед литературой задачу нравственного воспитания русского народа, ибо патриотизм, «патриотическая ревность» есть «государственная добродетель» и «вернейшая опора политических или государственных прав»<sup>4</sup>. И литература, посредством чувств прекрасного и доброго вызывающая любовь к тишине и порядку в своем отечестве, должна в этом отношении стать главным проводником «народного самолюбия» и народной гордости у россиян. При этом роль литературы и просвещения, по мнению Карамзина, тем более весома, что патриотизм является сознательной любовью к родине: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения – и потому не все люди имеют его» [11, с. 232].

Однако, признавал Карамзин, русские пока еще «излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, – а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут» [11, с. 233].

Причем в характеристике Карамзиным патриотизма нет «слепой страсти». По верному замечанию Бестужева-Рюмина, Карамзина в высокой степени отличал «истинный патриотизм, состоящий не в том, чтобы без разбора хвалить все, особенно то, что льстит вкусу дня... а в том, чтобы по совести сказать правду» [3, с. 112]. Карамзин предостерегал русское общество не только от национального самоуничтожения, но и от патриотического ослепления в оценке достоинств собственной нации. «Народ ни мало не выигрывает, доказывая, что его совмест-

<sup>1</sup> Карамзин Н.М. Английская промышленность: Письмо из Лондона // Вестник Европы. 1803. № 21–22. С. 34–35 [5].

<sup>2</sup> Карамзин Н.М. Новая политика // Вестник Европы. 1802. № 3. С. 1 [5].

<sup>3</sup> Карамзин Н.М. О Российском Посольстве в Японию // Вестник Европы. 1803. № 11. С. 167–168 [5].

<sup>4</sup> См.: Карамзин Н.М. О новом образовании народного просвещения в России // Вестник Европы. 1803. № 5. С. 54 [5].



ник презрителен»<sup>1</sup>, – утверждал он, обосновывая мысль о том, что национальная гордыня не является народным достоинством. Заклучая свои размышления о патриотизме, Карамзин в статье «О любви к отечеству и народной гордости» подчеркивал важность своевременного прекращения безоглядного заимствования европейского опыта: «Есть всему предел и мера: как человек, так и народ начинает всегда подражанием; но должен со временем быть сам собою, чтобы сказать: “Я существую морально!”. Теперь мы уже имеем столько знаний и вкуса в жизни, что могли бы жить, не спрашивая: как живут в Париже и в Лондоне? Что там носят, в чем ездят и как убирают дома? Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку и народу, который будет всегдашним учеником!» [11, с. 236–237].

Таким образом, мы видим уже сознательную и аргументированную позицию русского писателя, выразившуюся в признании необходимости особого для каждого народа пути развития. В свете этого становится понятным факт уединения, как писал А.С. Пушкин, «в ученый кабинет во время самых лестных успехов» [25, с. 45] – факт обращения Карамзина к истории и прежде всего к истории России, в которой он попытался отыскать главную традицию, главную «особенность нашей гражданской жизни», дававшую бы возможность говорить о том, в каком направлении движется Российское государство.

«Что есть *История*? – задает вопрос Карамзин и сам же отвечает: – память прошедшего, идея настоящего, предсказание будущего»<sup>2</sup>.

К занятию историей подталкивали писателя и принципы, заявленные им в рамках программы патриотического воспитания граждан: «Я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем»<sup>3</sup>. Иначе говоря, убеждение в том, что «русский, по крайней мере, должен знать цену свою» [11, с. 233], а также осознанная потребность в поиске и обосновании особого пути развития России, отличного от наполненного революционным хаосом пути европейского, обусловили переход Карамзина от литературной деятельности к многолетним историческим изысканиям.

\* \* \*

Одной, а может быть, и главной причиной, побудившей Карамзина заняться историей, было стремление обосновать закономерность и необходимость для блага России самодержавия. Не случайно политические выводы, доказывающие преимущества самодержавия – «лучшей» формы государственного устройства для России (ее «палладиума») и одновременно гаранта сохранения «святой веры», прямо следовали из его исторических выкладок. Именно в самодержавии он видел единственную силу, способную удержать российское общество от впадения в крайности революционных разрушений и массовых беззаконий.

Первое сугубо историческое сочинение русского мыслителя «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1802) было одновременно и его первым политическим трактатом, содержащим в себе монархическую программу автора. Главная мысль этой созданной Карамзиным концепции русской «просвещенной монархии» заключается в словах: «Сограждане! признаем во глубине

<sup>1</sup> Карамзин Н.М. Английское великодушие (Из французского журнала) // Вестник Европы. 1803. № 2. С. 92 [5].

<sup>2</sup> Карамзин Н.М. Вопросы и ответы // Вестник Европы. 1802. № 8. С. 357 [5].

<sup>3</sup> Карамзин Н.М. О случаях и характерах в Российской Истории, которые могут быть предметом Художеств. Письмо к Господину N.N. // Вестник Европы. 1802. № 24. С. 290 [5].

сердце благотельность Монархического Правления... Сие Правление тем благотворнее, чем оно соединяет выгоды Монарха с выгодами подданных: чем они довольнее и счастливее, тем власть Его святее и Ему приятнее. Оно всех других сообразнее с целию гражданских обществ: ибо всех более способствует тишине и безопасности» [12, с. 101].

То, что декларировалось писателем в «Историческом похвальном слове Екатерине II», было аргументировано им в записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811), а затем и в «Истории государства Российского» (1816–1829). Нужно заметить, что «Историческое похвальное слово Екатерине II» характеризует не только литературный стиль эпохи, но шире – стиль консервативного «хранительного» мышления. Содержание консервативного «хранительного» политического дискурса в России всегда определяла национальная идея, синтезирующая патриотизм (соединяющий любовь к Родине в географическом значении с любовью к «русскому духу» – традициям, обычаям, ценностям и идеалам русского народа, сформировавшимся и освященным многовековой историей борьбы за национальное самоопределение в сильном монархическом государстве) и духовную свободу в истинном православии. Великий путь России «от колыбели до величия полного», который Карамзин описал в многотомной «Истории государства Российского»; историко-политический анализ проблем России начала XIX века в записке «О древней и новой России...»; его представления об «идеальном самодержавии» как панацее России от внутренних войн и раздоров дополняются в «Историческом похвальном слове Екатерине II» характеристикой эпохи царствования Великой Екатерины, осуществившей на практике идеал самодержавного правления.

Карамзин высоким «штилем», но основываясь только на реальных событиях и фактах эпохи, демонстрирует силу государства и величие русского духа, парадоксальным образом воплотившиеся в императрице, немке по происхождению, сочетавшей либеральные устремления в управлении и культуре с жесткостью по отношению к внешним и внутренним врагам империи.

У читателей этого панегирического по сути произведения Карамзина может возникнуть впечатление, что историческое обоснование необходимости самодержавия для России Карамзин свел к попытке «придать внешний блеск и оживление тому, что дряхлело» (выражение А.А. Кизеветтера) [15, с. 20]. Однако это не так. Карамзин доказывал выгоды абсолютной власти не просто для утверждения уже существовавшего самодержавия со всеми его недостатками, но главным образом для укоренения в сознании русских людей идеи монархической власти как подлинно самобытного русского начала, предопределившего величественное развитие России на много десятилетий вперед.

Заявляя о защите Карамзиным того, что «дряхлело», Кизеветтер при этом упустил из вида следующее, на наш взгляд, немаловажное обстоятельство. Карамзин понимал под самодержавием не просто неограниченную единоличную власть монарха. Термин «самодержец», входивший в титул русского царя еще со времен Московской Руси, выражал в первую очередь то, что монарх не является чьим-либо данником (конкретно в ту эпоху – хана), то есть он – суверен, при этом не обязательно обладающий правом на произвол и безответственность. Неограниченную верховную власть одного человека самодержавие стало означать позднее, с царствования Иоанна Грозного. Эту сторону царской власти Карамзин интерпретировал всего лишь как вторичный ее атрибут – хотя и важный, но все же производный, сопутствующий, – выдвинув на первый план трактовку самодержавия как проявления могущества и политической независимости государства.

Иными словами, Карамзин призывал учитывать в анализе политики самодержавия не только его институциональные характеристики, но и реальные ре-

зультаты функционирования. А последние приводили Карамзина к признанию исторической правоты самодержавия, не раз спасавшего Россию от гибели и имеющего, на взгляд историка, все возможности для того, чтобы и дальше вести государство по неизведанным путям истории.

\* \* \*

Карамзин писал свою «Историю» «для русских, для своих соотечественников» [21, с. 452]. По воспоминаниям немецкого путешественника, побеседовавшего летом 1824 года с Карамзиным, он услышал от того следующее: «Из всех литературных произведений народа изложение истории его судьбы более всего должно вызвать его интерес и менее всего может иметь общий, не строго национальный характер. Историк должен ликовать и горевать со своим народом» [21, с. 453]. В одном из писем к И.И. Дмитриеву можно найти еще более откровенное признание: «Я писал для Русских, для купцов Ростовских, для владельцев Калмыцких, для крестьян Шереметева... а не для Западной Европы» [22, с. 281]. Перед нами очевидное, во всеуслышание заявленное стремление Карамзина доказать своей «Историей...» российскому обществу, что у нас есть собственное прошлое и собственная традиция. Этой традицией является российская государственность, имеющая своей основой принцип самодержавия, в силу которого «Россия развилась, окрепла и сосредоточилась». «Или вся Новая история должна безмолвствовать, или Российская имеет право на внимание» [13, 1, с. X], гордо заявлял автор в знаменитом предисловии к «Истории...».

\* \* \*

Как уже отмечалось, изучение прошлого страны было продиктовано желанием русского мыслителя исторически обосновать тезис о том, что «самодержавие есть палладиум России» [13а, с. 344].

Не случайно анализ отечественной истории Карамзин начал с описания «беспримерного в летописях случая» [13, 1, с. 67] – призвания варягов, основополагающего, по его мнению, факта всего исторического развития России. Слова новгородцев: «Хотим князя, да владеет и правит нами по закону» [13, 1, с. 142], – были, как утверждал Карамзин, не только основанием монархического устава древнего Российского государства. Историк особо выделил то, что «везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие <...> в России оно утвердилось с общего согласия граждан» [13, 1, с. 67].

Тем самым Карамзин обосновывал мысль об отсутствии в социальном строе России каких бы то ни было зачатков будущих общественных или политических конфликтов. Факт добровольного и всенародного образования монархического государства свидетельствовал, по мысли историка, о существенных различиях России и Европы в самих своих государственных основах. Образование европейских стран путем завоеваний было главной причиной того, что Запад к началу XIX века прошел уже через Нидерландскую, Английскую и Французскую революции. Поэтому, полагал Карамзин, у России, не имеющей в своих исторических истоках каких-либо революционных начал, должен быть свой, совершенно особый и отличный от европейского, мирный путь развития.

Тем не менее создатель первой нашей отечественной истории не отделял ее от истории остальных стран. Для Карамзина Россия всегда представляла в виде державы, которая «величественно возвышала главу свою на пределах Азии и Европы» [13, 6, с. 213]. Рассказывая о введении христианства на Руси, он подчеркивал, что оно укоренилось у нас «почти в одно время с землями сосед-

ственными: Венгрию, Польшу, Швецию...» [13, 6, с. 126]. «Удельную» систему в России историк называл «государственной общей язвой тогдашнего времени, которую народы Германские сообщили Европе» [13а, с. 280]. Карамзин видел в историческом движении народов «какое-то согласное течение мирских случаев к единой цели... связь между оными для произведения какого-нибудь действия, изменяющего состояние рода человеческого» [13, 6, с. 210]. Как говорил Вяземский, «Карамзин, *не мудрствуя лукаво*, провел Русскую историю широкими путями Провидения» [6, с. 362], не притязая на проникновение в общий смысл мирового хода событий.

Однако, несмотря на подобный провиденциалистский подход к истории, русский мыслитель не думал, что Россия является антитезой Европы. Он подчеркивал, что в проявлениях скрытого от людей замысла Провидения историк может видеть лишь действия разных и непохожих друг на друга народов, но никак не должен судить о том, кто лучше и кто хуже, «ибо сие мудрование несвойственно здравому смыслу человеческому» [13, 5, с. 222].

Конечно, как признавался сам Карамзин, он «не всегда мог скрыть любовь к Отечеству... Но не обращал пороков в добродетели; не говорил, что Русские лучше Французов, Немцев, но люблю их более: один язык, одни обыкновения, одна участь, и пр.» [20, с. 206]. В одном из писем к императору Александру I от 10 марта 1824 года Карамзин, прямо указывая на свою беспристрастность, замечал, что в его «Истории...» «нет, кажется, ни слова обидного для *народа*; описываются только худые дела *лиц*... Я не щадил и Русских, когда они злодействовали и срамились» [20, с. 29]. При всей своей любви к родине историк не проходил мимо «общественных злодейств», и если в России было, например, лихоимство, то он честно заявлял об этом. Так, в «Истории государства Российского» Карамзин не скрывал варварских черт в характере россиян, когда они порой заражались «язвою разврата», и описывал праздность русских и их пристрастие к крепким напиткам, языческие обычаи и ереси, распутство и корыстолюбие, излишние жестокости и «окаменение сердец» [13, 6, с. 62; 13, 11, с. 52; 13, 9, с. 273; 13, 11, с. 71; 13, 12, с. 75].

Но в этом правдивом изображении событий и заключается, по мнению историка, истинная любовь к отечеству, чья судьба «и в славе, и в уничтожении равно для нас достопамятна» [13, 2, с. 39].

Тем не менее необходимо признать, что Карамзин все же не избежал упреков и даже обвинений в адрес иноземцев, и в первую очередь европейцев. В «Предисловии» мы видим, как автор особо подчеркивал мирное освоение россиянами новых земель – «без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и Америке» [13, 1, с. X]. На страницах многих томов «Истории...» можно прочесть строки, посвященные описанию «низкой, завистливой политики Ганзы и Ливонского ордена» [13, 8, с. 70], «грязных» попыток папы и иезуитов обратить россиян в латинство и втравить их в ненужную войну с турками [13, 7, с. 61; 13, 9, с. 190; 13, 10, с. 109; 13, 12, с. 89]. Укорял историограф и лютеран в «примесах мудрований человеческих, несогласных с простотою Евангельскою» [13, 7, с. 131]; ставил им как образец «чистоту и неприкосновенность греческого вероисповедания» [13, 7, с. 61]; советовал немцам следовать примеру россиян, «которые довольствуются подданством народов, оставляя им на волю верить или не верить Спасителю» [13, 3, с. 90].

Отсюда понятно особое отношение Карамзина к Православию. По его мнению, «история подтверждает истину... что вера есть особенная сила государственная» [13, 5, с. 224]. И в этом отношении православная набожность русских оказала государству величайшую услугу. «Прославим действие веры, – писал историк в томе, содержащем описание России времен татаро-монгольского

ига, – она удержала нас на степени людей и граждан <...> в уничтожении имени русского мы возвышали себя именем христиан, и любили отечество как страну православия» [13, 5, с. 218].

\* \* \*

Следует подчеркнуть то, что Карамзин, не отделяя Россию от европейской цивилизационной системы, отводил ей совершенно особое место в этой системе, указывая на то обстоятельство, что европейские народы в своем развитии шли приблизительно одним общим путем, тогда как россияне – своим собственным, причем более трудным.

Особенно ярко своеобразие России как самодержавного государства выразил историк на примере деятельности Петра I. В шестом томе «Истории...» автор, сравнивая Иоанна III с Петром, впервые публично поставил вопрос о том, «кто из сих двух венценосцев поступил благоразумнее и согласнее с пользою отечества» [13, 6, с. 216]. По его мнению, «Иоанн, включив Россию в общую государственную систему Европы и ревностно заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного характера подданных» [13, 6, с. 216]. Петр поступил наоборот, чем нанес неисчислимый вред России. Карамзин вовсе не отрицал, что Европа начиная с XI века далеко опередила нас в своем развитии: «Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в самое то время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножились... Россия, терзаемая моголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть: нам было не до просвещения!» [13, 6, с. 216].

В записке «О древней и новой России...», которую М.П. Погодин охарактеризовал как «важнейшее государственное сочинение», стоящее «Политического завещания Ришелье» [24, с. 69], Карамзин указывал, что при неравном соотношении уровней развития Запада и России заимствования европейской культуры вполне возможны, и такие заимствования стали обычными уже в допетровское время: «царствование Романовых: Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению Россиян с Европою». Но, как подчеркивал Карамзин: «Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы **нехотя**, применяя все к нашему и новое соединяя со старым» [13а, с. 290]. При Петре I «все переменялось». Страсть этого самодержца «к новым для нас обычаям переступила в нем границы благоразумия». Петр, например, «искореняя древние навыки, представлял их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные» [13а, с. 291], делал это в основном с помощью пыток и казней; при Петре произошло расслоение русского, единого до того народа: «...высшие степени отделились от нижних, и Русский земледелец, мещанин, купец увидел Немцев в Русских дворянах ко вреду братского, народного единодушия Государственных состояний». То есть общество раскололось на две субкультуры – «немецкую» и «традиционно-русскую». Петр уничтожил достоинство бояр, изменил систему государственного управления. «Честью и достоинством россиян сделалось подражание». В области семейных нравов «европейская вольность заступила место азиатского принуждения». Ослабили родственные связи: «имея множество приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях и жертвуем свету союзом единокровия» [13а, с. 292].

Петр уничтожил патриаршество и объявил себя главою церкви, ослабив тем самым веру, «а с ослаблением веры Государь лишается способа владеть сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для Отечества и где Пастырь душ может обещать в награду один венец мученический» [13а, с. 294]. Петр перенес столицу государства на окраину, построив

ее на песке и болотах и положив на это множество людских жизней, денег и усилий [13а, с. 295]. В результате всего этого, заключает Карамзин, «мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России» [13а, с. 293].

Он подчеркивал, что «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество Государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух <...> есть не что иное, как привязанность к нашему особенному; не что иное, как уважение к своему народному достоинству» [13а, с. 291]. И в этом, по утверждению Карамзина, главная ошибка «великого венценосца», ибо «государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях» [13а, с. 291–292].

Подобные взгляды историка основывались на твердом убеждении, что государства и народы «могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные» [13а, с. 291]. В этом, на наш взгляд, суть карамзинского принципиального подхода к «мудрой» монархической власти. Карамзин был уверен в том, что предписывать народным обычаям, которые «естественно изменяются», насильственные уставы «есть насилие, беззаконное и для Монарха Самодержавного» [13а, с. 292].

Таким образом, степень вмешательства государственной власти в сферу народных привычек, обрядов, верований, иными словами, в сферу частной жизни и личного достоинства отдельного человека была для русского мыслителя той чертой, за которой заканчивается самодержавие и начинается деспотизм [см.: 18, с. 201–202]. «Тирания есть только злоупотребление самодержавия, – писал Карамзин в «Истории...», – самодержавие не есть отсутствие законов: ибо где обязанность, там и закон: никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастье народное» [13, 7, с. 121].

С точки зрения Карамзина, требования идеального самодержавия осуществила Екатерина II, и это зависело не только от личности императрицы, но и от общего уровня политического развития. Прежде всего Екатерина обходилась без «средств жестоких», то есть «без казни, без пыток, влияя в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший страх сделаться ей негодным и пламенное усердие заслуживать ее милость» [13а, с. 298]. Она допустила свободу высказываний по отношению к ней и к ее мероприятиям, она деятельно работала над усовершенствованием всех внутренних частей «нашего здания Государственного» и вела национальную внешнюю политику, но самое главное – Екатерина не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам. Всего этого достаточно, чтобы Карамзин определил екатерининское царствование как «время... счастливейшее для гражданина Российского» [13а, с. 300].

\* \* \*

Итак, «счастье гражданина», «счастье народное» – вот главная цель государственной власти; и народ как главный носитель национальных традиций является гарантом этой власти, силой, способной решать судьбу самодержавия. В изображении Карамзина русский народ предстает в единстве национального духа, и правители народа лишь носители этого духа, воплощающие в себе лучшие черты национального характера. Причем значение государственного деятеля определяется степенью его связи с народом, и только в ситуации союза власти с народом силы государства удесятятся.

Одна из главок девятого тома «Истории государства Российского» названа им «Любовь россиян к самодержавию». Как думал Карамзин, эта «любовь» является главным доводом в пользу российского самодержавия,

так как русский народ даже в годы тирании Иоанна Грозного понимал необходимость и спасительность монархии для России, считая «власть государеву властью божественною» [13, 9, с. 98]. В непоколебленной деспотией вере российских подданных в самодержавное правление Карамзин усматривал главную «силу государственную». И во многом для того, чтобы укрепить ее, он писал «Историю...», показывая ужасы и пагубу самовластия [4, с. 61], ибо «вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели» [13, 9, с. 250].

Истинное, «мудрое» самодержавие рисовалось Карамзину как равнодействующая и созидательная сила, подчиняющая интересам государства аристократию и олигархию, уничтожающая разъединительные тенденции в обществе и предотвращающая анархию. Утверждая, что «наше правление есть отеческое, патриархальное», историк полагал, что «в России государь есть живой закон» и судит, как отец семейства, без протокола – «по единой совести» [13а, с. 343]. Истинная монархия, по Карамзину, предполагая безграничную власть самодержца, основывается на его личных добродетелях. Поэтому самодержавная власть – это всегда испытание ее носителя, преодолевающего искус абсолютной власти, способной развратить любого человека.

Чем же в таком случае должна быть связана воля самодержца? Ответ на этот вопрос мы находим уже в первых томах «Истории...»: «Правила нравственности и добродетели святее всех иных и служат основанием истинной Политики» [13, 4, с. 147]. Единственным средством охранения подданных от злоупотреблений власти Карамзин считал совесть монарха и создавшиеся традиции. Определяют границы самовластия монарха, с одной стороны, высокие нравственные качества самодержца, с другой – «дух народный». Ничто другое не должно ограничивать волю самодержца, никому и ни в чем не дающего ответа и ни перед кем не ответственного.

Не отрицая взаимовлияния разных стран и народов, в частности сближения россиян с Европой, Карамзин выступает резко против вмешательства государства в «домашнюю жизнь» народа. В этой связи, интересна карамзинская характеристика гражданского образа Древней России, в котором соединились черты Востока и Запада. Образ этот, по Карамзину, не что иное как смесь: 1) древних восточных нравов (славян и монголов), 2) византийских (заимствованных вместе с христианской верой) и 3) «некоторых германских, сообщенных им варягами». Утехи рыцарские и дух местничества – германские обычаи, «заключение» женского пола и строгое холопство – азиатские обычаи, царский двор уподоблялся византийскому. Эта смесь в нравах, «произведенная случаями, обстоятельствами, казалась нам природною и россияне любили оную, как свою народную собственность» [13а, с. 284].

В этой любви все дело. Главное не степень индивидуальной свободы или псевдолиберальной «толерантности», прагматизма или практицизма, но то, что качества русских людей – идеализм или духовность, стихийный аполитизм или нежелание «государствовать», «царистские иллюзии» или мессианство – органически вырастают из особенностей истории народа. Их «природный» характер сводит на нет все критические эскапады русофобов, которые, говоря о «русских чертах», обычно сводят «русскость» к рабской психологии, отсутствию чувства собственного достоинства, нетерпимости к чужому мнению, холуйской смеси злобы, зависти и преклонения перед чужой властью; любви к сильной, жестокой власти и самой жестокости власти, «тоске по Хозяину»; мечтаниям о какой-то роли или миссии России в мире, желанию чему-то научить других, указать какой-то новый путь или даже спасти мир [цит. по: 31, с. 292–293; см. также: 19].

\* \* \*

Взгляды Карамзина на сущность русского самодержавия, которое, по его убеждению, неотделимо от самой «метафизической природы» России, в сконцентрированном виде можно охарактеризовать его словами из письма к П.А. Вяземскому: «Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правление было жизнью Рима» [23, с. 60]. Эксперименты здесь не годятся, уверял Карамзин. Каждый народ в своем историческом бытии реализует присущий только ему тип культуры, в основе которой лежит создание национальной государственности. А история показывает, что «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием» [13а, с. 284].

В связи с этим можно утверждать, что политическое кредо Карамзина не просто «консерватизм» в европейском смысле этого слова [см. подр.: 32; 33], но – «хранительство»<sup>1</sup>. Тяга к «хранительству» («чтобы ничего не переносить, ничему не подражать, а все развивать из того, что есть, и не разрушая того, что есть» [27, с. 40]) обусловила особенности мировосприятия Карамзина, определившие весь внутренний строй его произведений. В своих трудах Карамзин прямо требовал «более мудрости хранительной, нежели творческой» в политике [13а, с. 314], и воспевал самодержавие и гений государя – хранителя государства Российского [12, с. 135]. Именно он стал инициатором консервативного «хранительного» разворота, который ознаменовался переменной европейских приоритетов на национально-русские. Именно он положил начало «хранительному» направлению социально-политической мысли, имевшему огромное влияние в России. Произведенный Карамзиным синтез политических принципов самодержавия и гуманистических идей трансформировался в концепциях русских консерваторов позднего времени в еще более «хранительную» по духу и букве систему, содержащую в себе как идеи абсолютной власти, так и высшие нравственные, преимущественно православные, ценности. Примером могут служить труды М.П. Погодина, С.П. Шевырева, К.С. и И.С. Аксаковых, К.П. Победоносцева, Л.А. Тихомирова и многих других русских мыслителей.

<sup>1</sup> Концепция русского «хранительства» была предложена М.А. Маслиным и разработывается Д.В. Ермашовым, С.В. Перевезенцевым, А.А. Ширинянцем и др. См.: [9; 37; 36 и др.]. Концепция «хранительного» направления русской социально-политической мысли реализована в антологии «Хранители России» [29; 30].





## Литература

1. *Белинский В.Г.* Статьи о Пушкине. Статья вторая // *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 7. С. 132–222.
2. *Бестужев-Рюмин К.Н.* Карамзин как историк // *Бестужев-Рюмин К.Н.* Биографии и характеристики. СПб.: Тип. В.С. Балашова, 1882. С. 205–230.
3. *Бестужев-Рюмин К.Н.* Патриотическое чувство в «Истории» Карамзина // Николай Михайлович Карамзин. Его жизнь и сочинения: Сборник историко-литературных статей. 3-е изд., доп. М.: Тип. Г. Лиснера и Д. Собко, 1912. URL: [http://imwerden.de/pdf/karamzin\\_ego\\_zhizn\\_i\\_sochineniya\\_sbornik\\_sostavil\\_pokrovsky\\_1912\\_text.pdf](http://imwerden.de/pdf/karamzin_ego_zhizn_i_sochineniya_sbornik_sostavil_pokrovsky_1912_text.pdf)
4. *Вацууро В.Э., Гиллельсон М.И.* «Опровергнутые верным рассказом событий» // *Вацууро В.Э., Гиллельсон М.И.* Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. 2-е изд., доп. М.: Книга, 1986. С. 59–64.
5. Вестник Европы. 1802–1803. URL: <http://imwerden.de/razdel-2046-str-1.html>
6. *Вяземский П.А.* Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина // *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. Т. 2. URL: [http://imwerden.de/pdf/vyazemsky\\_polnoe\\_sobranie\\_tom02\\_1879.pdf](http://imwerden.de/pdf/vyazemsky_polnoe_sobranie_tom02_1879.pdf)
7. *Герцен А.И.* С того берега // *Герцен А.И.* Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. VI: С того берега. Статьи. Долг прежде всего. 1847–1851. С. 8–142.
8. *Герцен А.И.* Крещеная собственность // *Герцен А.И.* Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. XII. Произведения 1852–1857 годов. С. 94–117.
9. *Ермашов Д.В., Ширинянец А.А.* Хранительство как основание консервативной политической культуры интеллигенции (опыт пореформенной России) // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2006. № 2. С. 5–22.
10. *Карамзин Н.М.* Записки старого московского жителя. М.: Московский рабочий, 1988.
11. *Карамзин Н.М.* Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010.
12. *Карамзин Н.М.* Историческое похвальное слово Екатерине II // *Ермашов Д.В., Ширинянец А.А.* У истоков российского консерватизма: Н.М. Карамзин. М.: Изд-во Московского университета, 1999. С. 81–136.
13. *Карамзин Н.М.* История государства Российского: в 4 кн., 12 т. 5-е изд. СПб.: И. Эйнерлинг, в тип. Э. Праца, 1842–1843. Репринт. воспроизв. М.: Книга, 1988–1989.
- 13а. *Карамзин Н.М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении // *Карамзин Н.М.* Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010.
14. *Карамзин Н.М.* Соч.: в 2 т. Л.: Художественная литература, 1984.
15. *Кизеветтер А.А.* Н.М. Карамзин // Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1. С. 9–26.
16. *Киреевский И.В.* Отрывки // *Киреевский И.В., Киреевский П.В.* Полн. собр. соч.: в 4 т. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. Т. 1: Философские и историко-публицистические работы. С. 181–199.
17. *Ключевский В.О.* Н.М. Карамзин // *Ключевский В.О.* Соч.: в 9 т. М.: Мысль, 1989. Т. 7. С. 274–279.
18. *Лотман Ю.М.* «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» Карамзина – памятник русской публицистики начала XIX века // *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: в 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 2: Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. С. 194–206.
19. *Мыркова А.В., Сетов Н.Р., Сорокопудова О.Е., Топычанов А.В., Осадченко З.Н., Ширинянец А.А., Шутлов А.Ю.* Русский вопрос и линия русофобии в истории политики и политической мысли Европы XIX века // Русский вопрос в истории политики и мысли: Антология. М.: Изд-во Московского университета, 2013. С. 5–58.
20. Неизданные сочинения и переписка Н.М. Карамзина. СПб.: в тип. Н. Тиблена и комп., 1862. Ч. 1. URL: [http://imwerden.de/pdf/karamzin\\_neizdannoe\\_i\\_perepiska\\_ch1\\_1862\\_text.pdf](http://imwerden.de/pdf/karamzin_neizdannoe_i_perepiska_ch1_1862_text.pdf)
21. Николай Михайлович Карамзин у графа Н.П. Румянцова в 1824 г. // Русская старина. 1890. Т. 67. № 9. URL: <http://www.runivers.ru/bookreader/book201814/#page/460/mode/1up>
22. Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1866.
23. Письма Н.М. Карамзина к князю П.А. Вяземскому. 1810–1826 (Из Остафьевского архива). СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1897.
24. *Погодин М.П.* Н.М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1866. Ч. 2. URL: <http://www.runivers.ru/bookreader/book579651/#page/71/mode/1up>
25. *Пушкин А.С.* Отрывки из писем, мысли и замечания // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 7: Критика и публицистика. С. 38–45.
26. *Соловьев Э.Г.* О некоторых особенностях формирования консервативного идейного комплекса в России: К постановке проблемы // Проблемы общественно-политической мысли в зеркале новой российской политологии [Сб. ст.]. М.: ИМЭМО, 1994. С. 3–47.
27. *Страхов Н.Н.* Спор об общем образовании // *Страхов Н.Н.* Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 39–43.
28. *Федотов Г.П.* Певец Империи и свободы // *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): в 2 т. СПб.: София, 1991. Т. 2. С. 141–162.
29. Хранители России: Антология. М.: Паблис, 2015. Т. 1: Истоки русской консервативной мысли. XI–XVII вв.
30. Хранители России: Антология. М.: Паблис, 2015. Т. 2: В поисках нового... консерватизма.

31. *Шафаревич И.Р.* Русофобия // *Шафаревич И.Р.* Есть ли у России будущее? М.: Советский писатель, 1991. С. 389–486.
32. *Ширинянец А.А.* «Консерватор», «консерватизм», «консервативный» в русской социально-политической мысли XIX века // *Sensus Historiae*. Vol. XX (2015/3). S. 27–35.
33. *Ширинянец А.А.* «Консерватор»: слово и смыслы в русской социально-политической мысли XIX века // *Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки*. 2015. № 6. С. 112–124.
34. *Ширинянец А.А.* Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М.: Изд-во Московского университета, 2011.
35. *Ширинянец А.А.* О специфике истории социально-политической мысли России // *Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления: Материалы международной научной конференции*. Москва, 28–29 октября 2010 г. / [Отв. ред. В.В. Шелохаев]. М.: РОССПЭН, 2011. С. 536–546.
36. *Ширинянец А.А.* Русский хранитель: политический консерватизм М.П. Погодина. М.: Русский мир, 2008.
37. *Ширинянец А.А.* Хранительство как основание консервативной политической культуры интеллигенции (опыт пореформенной России): концепция русской монархии // *Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки*. 2006. № 4. С. 69–87.

*Аннотация.* В статье рассматриваются взгляды Н.М. Карамзина на сущность русского самодержавия. Показано, что в начале XIX века европейские устремления мыслящей части русского общества сменились осознанием того, что любые попытки приблизить Россию к европейской цивилизации не должны вести к утрате ее собственных национальных начал и духовных ценностей. Консервативный «разворот» в России ознаменовался переменной европейских приоритетов, источников политической мысли, в которых русские теоретики находили вдохновение для своих консервативных воззрений. Инициатором консервативного «хранительного» разворота русской социально-политической мысли стал историк и мыслитель Николай Михайлович Карамзин (1766–1826). Именно он поставил во главу угла в политике «мудрость хранительную» и осуществил в своих трудах синтез политических принципов самодержавия и гуманистических идей. Анализ «Исторического похвального слова Екатерине II», записки «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении», «Истории государства Российского» и других произведений Н.М. Карамзина показывает, что карамзинский вариант «хранительного» консерватизма – это не просто прагматически-политическая доктрина, выражавшая интересы лишь узкокорпоративного придворного круга, «официальную догму», это начало консервативного направления социально-политической мысли, имевшее огромное влияние в России, а сам Н.М. Карамзин по праву является отцом-основателем русского политического консерватизма.

*Ключевые слова:* Н.М. Карамзин, русское самодержавие, русский консерватизм, «хранительство».

Aleksandr Shiriniants, Ph.D. in political science and in philosophy; Professor; Head of Department, Department of History of Social and Political Teachings, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: jants@yandex.ru

Dmitry Ermashov, Ph.D. in political science; Associate Professor, Department of History of Social and Political Teachings, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: dm\_em@mail.ru

### **The Idea of “Khranitel'stvo” in N. Karamzin**

*Abstract.* The article gives an overview of N.M. Karamzin's vision of the essence of Russian absolutism (samoderzhavie). It shows that in the beginning of the 19th century, European orientation of the intellectual part of Russian society gave way to the conviction that any attempt to bring Russia closer to European civilization should not lead to the loss of its own national roots and spiritual values. Conservative “turnaround” signified the substitution of European priorities and sources of political notions, that previously used to inspire Russian conservative authors. Nicolai Karamzin (1766–1826), Russian historian and thinker, initiated protective conservative turnaround of Russian social-political ideas. He was the one, who made “protective wisdom” the key-stone of politics and managed to unite the principles of samoderzhavie with ideas of humanism. The analysis of “Historical Commendations on Catherine II”, notes on “Ancient and Modern Russia in relation to its political and civil state”, “History of the Russian State” and other Karamzin writings proves that his concept of “preserving” (“khranitel'stvo”) conservatism was not just a pragmatic political expression of narrow corporative opinion of royal court surrounding, a kind of official dogma, but the idea that influenced Russian political doctrines greatly, justifying the role of Karamzin as the founding father of Russian conservatism.

*Keywords:* N.M. Karamzin, Russian Absolutism, Russian Conservatism, «Khranitel'stvo».

## **Родоначальник русского консерватизма**

Масштабы деятельности Николая Михайловича Карамзина (родился 1 (12) декабря 1766 года в селе Михайловка Бузулукского уезда Симбирской губернии – скончался 22 мая (3 июня) 1826 года в Санкт-Петербурге) как великого русского историка, писателя, журналиста, поэта уже вполне осознаны современным образованным обществом. Карамзин стал одной из крупнейших фигур в пантеоне великих русских людей, в одном ряду с Ломоносовым, Суворовым и Пушкиным.

Карамзин происходил из крымско-татарского рода Кара-мурзы (известного с XVI века). Детство провел в имении отца – Михаила Егоровича, помещика средней руки – селе Знаменском, а затем воспитывался в частном пансионе Фовеля в Симбирске, где учили на французском языке, потом – в московском пансионе профессора И.М. Шадена. Шаден являлся апологетом института семьи, видел в семье хранительницу нравственности и источник образования, в котором религия, начало мудрости, должна была занимать ведущее место. Наилучшей формой государственного устройства Шаден считал монархию, с сильным дворянством, добродетельным, жертвенным, образованным, ставящим во главу угла общественную пользу. Влияние подобных взглядов на Карамзина неоспоримо. В пансионе он выучил французский и немецкий языки, учил английский, латынь, греческий. Кроме того, молодой Карамзин посещал лекции в Московском университете. С 1782 года он служил в Преображенском полку. В это же время начал литературную деятельность.

По смерти отца Карамзин в 1784 году вышел в отставку и уехал в Симбирск. Там вступил в масонскую ложу «Золотого венца». Спустя год он переехал в Москву, где сблизился с московскими масонами из окружения Н.И. Новикова, под влиянием которых формируются его взгляды и литературные вкусы, в частности, интерес к литературе французского «Просвещения», «энциклопедистам», Монтескье, Вольтеру и прочим властителям дум того времени. Масонство привлекало Карамзина своей просветительской и благотворительной деятельностью, но отталкивало мистической стороной и обрядами. По утверждению Я.К. Грота, Карамзин «отзывался о новиковском обществе несочувственно; по своему отвращению от всякого мистицизма, по нерасположению ко всему неопределенному и неясному, он не мог долго оставаться в кругу масонов и скоро отстал от них, потому, что не удовлетворялся мистической стороной их учения. Но в воззрениях их была еще другая сторона: дух религиозного благочестия, патриотизма, благоволения к человечеству и братской любви к ближнему. Этот

самый дух распространен в сочинениях Карамзина и был, конечно, по крайней мере в известной степени, плодом пребывания его в масонском обществе» [5, с. 12]. К 1788 году он вполне охладевает к масонству.

В конце 1780-х годов Карамзин участвует в различных периодических изданиях – «Размышления о делах Божиих...», «Детское чтение для сердца и разума», – в которых публикует собственные сочинения и переводы.

В 1789–1790 годах он совершает восемнадцатимесячное заграничное путешествие, побудительными мотивами которого были желание написать книгу о Европе – царстве просвещенного разума – и отчуждение от кружка ранее близких ему московских масонов. Карамзин побывал в Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Он познакомился с Кантом, Гердером, Ш. Бонне, И.К. Лафатером. Будучи свидетелем революционных событий во Франции, он неоднократно посещал Национальное собрание, слушал речи Робеспьера и завел знакомства со многими тогдашними политическими знаменитостями. Этот опыт личного знакомства оказал огромное воздействие на дальнейшую эволюцию Карамзина, положив начало критическому отношению к «передовым идеям».

Вернувшись на родину, Карамзин издает «Московский журнал» (1791–1792), альбом «Аглая» (1794–1795), альманах «Аониды» (1796–1799), «Пантеон иностранной словесности» (1798), журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1799).

В этот период Карамзин испытывает нарастающий скепсис по отношению к идеалам «Просвещения», однако в целом остается на западнических, космополитических позициях, будучи уверенным в том, что путь цивилизации един для всего человечества и что Россия должна идти по этому пути: «всё народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами» [16, с. 254]. Как литератор Карамзин выступил в роли создателя нового литературного направления, так называемого сентиментализма, осуществил масштабную реформу русского языка, с одной стороны, ориентируя его на французские литературные модели, с другой – приближая к разговорной речи. При этом он полагал, что русский бытовой язык еще только предстоит создать. Русский сентиментализм, по сути, был одной из разновидностей западничества. Американский исследователь А. Мартин характеризует некоторые основные черты сентиментализма следующим образом: «Цивилизирующее противоядие русской необразованности и закоренелому деспотизму они (сентименталисты – А.М.) видели в изысканной эlegantности французского аристократического общества и манер; а будущее России связывалось ими с утонченной, космополитической и намеренно феминизированной культурой аристократии. Они не были убеждены ни в том, что Россия и Запад противоположны друг другу по сути, ни в том, что Россия должна рабски подражать Европе; но считали, что она являлась неотделимой частью Европы и должна была выстраивать эту составляющую своей индивидуальности» [26, р. 30].

По возвращении из-за границы Карамзин опубликовал «Письма русского путешественника» (1791–1792), принесшие ему всероссийскую известность. В этом произведении он стоял в целом на точке зрения «гуманистического космополитизма и апеллирующего к универсальному прогрессу просветительства» [17, с. 7]. Космополитические и западнические мотивы задавали тон «Письмам»: «Путь образования или просвещения *один* для народов; все они идут им в след друг за другом. Иностранцы были умнее русских: и так надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано?» [16, с. 253–254].

Одновременно Карамзин осознает значение исторической традиции и высказывает неприятие революционных перемен, отдавая предпочтение постепенным органичным изменениям: «Всякое гражданское общество, веками

утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтою доброго сердца, или может исполниться неприметным действием времени; посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов <...> Всякие насильственные потрясения гибельны <...> Легкие умы думают, что все легко; мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо» [16, с. 266–227].

Уже в «Письмах русского путешественника», комментируя ситуацию в Англии, Карамзин пришел к выводу, что для каждого народа необходимо свое государственное устройство, отвечающее его национальным особенностям: «не Конституция, а просвещение Англичан есть истинный их Палладиум<sup>1</sup>. Всякие гражданские учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в другой земле» [16, с. 477]. Подобные рассуждения сопровождали отход Карамзина от идей республиканизма и признание благодетельности самодержавия для России.

Будучи основоположником сентиментализма, Карамзин не стремился чрезмерно «офранцузить» русский язык и культуру. Еще в 1791 году он утверждал: «в нашем так называемом *хорошем обществе* без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров право не хуже других...» [16, с. 477]. Тогдашний космополитизм Карамзина сочетался со своеобразной литературной борьбой за возвращение к русским истокам. В 1790-х годах в его творчестве непрерывно рос интерес к русской истории, сопряженный с романтическим конструированием русскости. История, считал он, должна пробуждать чувство патриотизма. По словам историка М.П. Погодина, «при всяком случае Карамзин старался возбудить внимание к Русской Истории и укорять общество в недостаточности знакомства с нею» [22, с. 16]. Во вступлении к «Наталии, боярской дочери» (1792) Карамзин писал: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали?» [12, с. 27].

Одновременно с изданием «Писем» Карамзин сблизился с Г.Р. Державиным и окончательно порвал с масонством, вызвав тем самым решительное осуждение и раздражение многих своих недавних друзей [19, с. 698–699].

Таким образом, к началу XIX века Карамзин совершил сложную идейную эволюцию – от либерала, западника и масона, сторонника Просветительского проекта до знаковой фигуры раннего русского консерватизма. Эти метаморфозы В.О. Ключевский выразил краткой формулой: «Оптимизм, космополитизм, европеизм, абсолютизм, республиканизм – оставлены» [18, с. 244].

Восшествие на престол Александра I положило начало новому периоду в идейной эволюции Карамзина. Он критически отнесся к либеральным начинаниям государя. В 1802 году Карамзин выпустил в свет написанное в 1801 году «Историческое похвальное слово Екатерине II», представляющее собой своего рода монархическую программу. Карамзин разделяет все аргументы в пользу самодержавия, высказанные в «Наказе» Екатерины. Однако с его точки зрения их подкрепляют результаты французской революции: «народ многочисленный на развалинах трона хотел повелевать сам собою: прекрасное здание общественного благоустройства разрушилось; неописанные несчастья были

<sup>1</sup> Палладиум (др.-греч. παλλάδιον) – священная статуя-оберег, изображавшая Афины-Палладу. Являлась святыней и талисманом города, в котором хранилась. В переносном смысле – талисман, сакральный предмет, приносящий удачу владельцу (чаще стране).

жребием Франции, и сей гордый народ, осыпав пеплом главу свою, проклиная десятилетнее заблуждение, для спасения политического бытия своего вручает самовластие счастливому корсиканскому воину» [10, с. 300–301]. Соответственно, для России благодетельно самодержавие, а главная задача воспитания – «вкоренение» благоговения к монарху. При этом самодержавие, по мысли Карамзина, не было аналогично самовластию и потому не являлось «врагом свободы в гражданском обществе». Самодержавие может до известной степени стеснять «природную вольность» человека, но лишь для сохранения «единой целостности гражданского порядка».

В начале XIX века Карамзин развернул активную издательскую деятельность: переиздал «Московский журнал», предпринял издание «Пантеона российских авторов, или собрания их портретов с замечаниями», выпустил первое собрание своих сочинений в восьми томах. Однако в истории русского мысли из всех его деяний главным событием тех лет стало издание «толстого» журнала «Вестник Европы» (1802–1803), выходившего два раза в месяц, в котором Карамзин выступил в роли политического писателя, публициста, комментатора и международного обозревателя. Друг и единомышленник Карамзина И.И. Дмитриев писал: «Никто из журналистов наших, старых и современных, не был богаче и разнообразнее Карамзина в собственных сочинениях. Мы видели в нем и политика, и патриота, и критика, и моралиста» [6, с. 319]. М.П. Погодин давал такую характеристику журналу: «“Вестник Европы” Карамзина как был, так и остался навсегда образцовым русским журналом, с которым не сравнялся после ни один <...> Он прочитывался с жадностью, от первой страницы до последней, удовлетворяя вполне своих читателей, вел их далее, обогащал знаниями, возбуждал охоту приобретать новые, имел свое собственное мнение и выражал его ясно и твердо» [21, с. 605]. В статьях Карамзина в «Вестнике Европы» его формирующиеся консервативные убеждения выстроились в относительно стройную систему взглядов.

На страницах журнала Карамзин резко полемизировал со всей «просветительской» традицией: от энциклопедистов до Ж.-Ж. Руссо. Уже в «Мелодоре и Филалете» (1795) он ярко выразил неприятие и шок, вызванный реализацией идей «Просвещения» в ходе французской революции: «Век просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди убийств и разрушения не узнаю тебя!» [11, с. 190]. Тогда же Карамзин отказался от главного положения «Просвещения» – убеждения в том, что человеческий разум творит историю. Его взгляды на природу человека приобретают консервативный характер. В основу повести «Моя исповедь» легла идея врожденно злой природы человека [20, с. 344]. Карамзин вступил в полемику с тезисом Руссо о доброй природе человека и зле как последствии уродующего влияния несправедливого общества. Он утверждал, что, к несчастью, природа человека – эгоизм, то есть она по сути антиобщественна. Несовершенная природа человека исключает совершенное земное устройство. «Эгоизм превращает высокий идеал республики в недостижимую мечту» [20, с. 575].

Усиление консервативных акцентов в мировоззрении Карамзина выразилось и в том, что он во все большей степени обращает свое внимание на феномен традиции, безоговорочно отрицаемой «Просвещением». Для «просветительства» одной из основополагающих установок было противопоставление новаторства, олицетворяемого «Просвещением», и косности, воплощенной в традиции. Карамзин же убежденно заявлял: «учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума» [13, с. 223].

Карамзин сформулировал свою государственно-монархическую позицию (ранее для него государство было «чудовищем»): «гражданский порядок

священ даже в самых местных или случайных недостатках своих <...> власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства, что, разбивая сию благодетельную эгиду народ делается жертвою ужасных бедствий» [13, с. 223]. Он совершенно недвусмысленно осуждал «ужасную» французскую революцию, которая «останется пятном осьмогонадесять века, слишком рано названного философским». При этом видел в качестве позитивного ее последствия то, что она уверила «народы в необходимости законного повиновения, а государей – в необходимости благодетельного, твердого, но отеческого правления» [8, с. 83]. Иначе говоря, революция парадоксальным образом способствовала распространению и укреплению монархического принципа правления. «Опасные и безрассудные якобинские правила, – писал он в 1802 году, – которые вооружили против республики всю Европу, исчезли в самом своем отечестве, и Франция, несмотря на имя и некоторые республиканские формы своего правления, есть теперь, в самом деле, не что иное, как истинная монархия» [8, с. 72]. Подобные заявления свидетельствовали о наличии во взглядах Карамзина своего рода платонического бонапартизма. Некоторое время он интерпретировал режим первого консула как «истинную монархию» [о «бонапартизме» Карамзина см.: 20, с. 271–273]. Взгляды его носили еще переходный характер. От осторожной апологии сильной республиканской власти он вскоре перейдет к апологии самодержавной монархии.

Нет ничего удивительного, что бывший космополит резко выступил против галломании, против воспитания русских детей за границей, западной моды, против подражательства всему иностранному, тем более что подобное отрицание было достаточно укоренено в русской интеллектуальной традиции. Наиболее яркое произведение Карамзина, отразившее подобные мотивы, – «О любви к отечеству и народной гордости» (1802). Историк М.В. Довнар-Запольский охарактеризовал его как «наиболее ранний протест против преклонения пред всем иноземным и, главным образом, французским» [7, с. 212]. М.П. Погодин утверждал, что Карамзин «видел гибельные следствия от нашего неуважения к самим себе, презрения собственных достоинств, от недоверчивости <...> к русским дарованиям, которая останавливает народное развитие, убивает способности, не допускает ни до каких успехов» [21, с. 619]. Но там, где Погодин усматривал правоту Карамзина, столетие спустя либеральный (впоследствии советский) историк В.Н. Бочкарев видел лишь шовинистический негатив: «Наибольшего напряжения консервативно-националистический тон Карамзина достигает в известном его рассуждении “О любви к отечеству и народной гордости”. Оно <...> проникнуто <...> нападками на все иностранное, преимущественно французское». Бочкарев обвинял Карамзина в стремлении «играть на патриотических струнах своих читателей» [3, с. 202].

Действительно, патриотический пафос Карамзина в этом произведении чрезвычайно силен: «Мы излишно смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике вредно. Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, чтобы любовь к отечеству должна была ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен, по крайней мере, знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского, станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое, и повторим его с благородною гордостью» [13, с. 253–254]. Оценить подобное изменение общественно-политических и культурных установок можно, лишь зная о том, что в «Письмах русского путешественника» Карамзин утверждал, что после России для него нет земли «приятнее Франции», а французы – «самый любезный из всех народов».



Карамзин призвал прекратить безоглядное заимствование опыта Запада: «Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках <...> Хорошо и должно учиться: но горе <...> народу, который будет всегдашним учеником» [13, с. 257]. Карамзин сознавал необходимость национальной самодостаточности и самостоятельности в жизни и культуре: «Как человек, так и народ, начинает всегда подражанием, но должен со временем быть самим собою» [13, с. 257].

Говоря о будущем России, Карамзин заявлял: «Мне кажется, что я вижу, как народная гордость и славолюбие возрастают в России с новыми поколениями» [15, с. 308]. Особая роль России во всемирной истории для него не подлежала сомнению: «Если все просвещенные земли с особенным вниманием смотрят на нашу империю, то не одно любопытство рождает его: Европа чувствует, что собственный жребий ее зависит некоторым образом от жребия России, столь могущественной и великой» [5, с. 24].

Стремясь избавиться от практики воспитания и обучения молодых людей иностранцами, Карамзин настаивал на деятельном участии самих родителей в образовании детей и возражал против отправки их для обучения за границу: всякий должен учиться в своем отечестве и заранее привыкать к его климату, образу жизни и правления; в одной России можно сделаться хорошим русским. При этом он не отвергал необходимости учиться иностранным языкам, но считал, что их можно достаточно освоить, не выезжая из России: «Можно ли сравнить выгоду хорошего французского произношения с унижением народной гордости?» [14, с. 364]. Впрочем, Карамзин признавал пользу отправки за границу молодых людей, уже основательно подготовленных, с тем чтобы они могли узнать жизнь европейских народов и даже почувствовать их превосходство во многих отношениях [5, с. 23].

Карамзина немало беспокоило то обстоятельство, что большую часть учителей и воспитателей в России составляют иностранцы, и он не раз предлагал заменить их «природными русскими»: «Нельзя ли завести особенной педагогической школы, для которой российское дворянство в нынешние счастливые времена не пожалело бы денег? <...> У нас не будет совершенно морального воспитания, пока не будет русских хороших учителей <...> Никогда иностранец не поймет нашего народного характера и, следовательно, не может сообразоваться с ним в воспитании. Иностранцы весьма редко отдают нам справедливость: мы их ласкаем, награждаем. А они, выехав за курляндский шлагбаум, смеются над нами или бранят нас <...> и печатают нелепости о русских» [14, с. 363]. М.П. Погодин усматривал в приведенных предложениях Карамзина «первые черты мыслей, послуживших основанием тех мер, которые впоследствии были приняты правительством» (при Николае I и С.С. Уварове – А.М.) [5, с. 23].

В начале XIX века имела место дискуссия, инициированная А.С. Шишковым в трактате «Рассуждение о старом и новом слоге языка российского» (1803). Шишков подверг критике карамзинский «новый слог», то есть лексические, фразеологические и стилистические заимствования из французского языка и обвинил Карамзина и его последователей в распространении галломании.

Работа Шишкова лишь формально носила филологический характер. Речь шла о том, по какому пути должна развиваться Россия: копируя западно-европейские культурные и политические технологии или же опираясь на собственные традиции. Современный автор так определяет основные черты взглядов сторонников Шишкова: «Россия в своем развитии должна прежде всего ориентироваться на свое национальное прошлое: на древнеславянские основы культуры, на традиционно сложившиеся в русском быту морально-этические нормы, на прочно устоявшиеся формы феодально-монархических отношений» [1, с. 51]. Шишков усматривал жесткую связь между языком, литературой, нра-

вами и национальным характером. В «Рассуждении» он резко выступил против тех, кто, по его словам, был «заражен неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к французскому языку» [25, с. 1]. К таковым им причислялись не только литераторы сентименталистского направления, которые задались целью усвоить западную словесность, по преимуществу французскую, создав в литературе «новый слог», но и значительная часть русского дворянского общества, которая была полностью или частично сориентирована на французские культурно-поведенческие модели.

Однако сам Карамзин никакого участия в литературной полемике не принимал. Объяснить это можно тем, что он не только был занят историографическими студиями, «постригся в историки» (П.А. Вяземский), но и тем, что его позиция, в том числе и лингвистическая, под влиянием занятий русской историей, стала сближаться с позицией Шишкова. Позднее видный исследователь умеренно-либерального направления А.Н. Пыпин справедливо утверждал: «На деле между Шишковым и Карамзиным, – кроме разницы в языке, – не было существенного различия. Впоследствии Шишков сам имел случай убедиться, что в основных общественных вопросах им не о чем спорить. Их патриотизм был одинаково консервативный. Оба они писали о любви к отечеству и говорили в сущности одно и то же; оба не любили нововведений и предпочитали старую патриархальность, оба восставали против иностранных учителей, которым поручалось у нас воспитание...» [24, с. 284].

Еще в 1790-х годах обозначился интерес Карамзина к русской истории. Тогда он написал несколько небольших исторических работ. В статье для «Вестника Европы» «О случаях и характерах в Российской Истории, которые могут быть предметом художеств» Карамзин писал: «Должно приучить россиян к уважению собственного <...>. Я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи, или не занимается ими; надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведения о прошедшем» [22, с. 8]. В 1803 году Карамзин обратился в Министерство народного просвещения, к попечителю Московского учебного округа М.Н. Муравьеву с просьбой об официальном назначении его историографом, которая вскоре была удовлетворена особым указом. С 1803 по 1811 год он создает пять томов «Истории государства Российского», попутно открыв и впервые используя ценнейшие исторические источники. Научная деятельность Карамзина способствовала дальнейшей эволюции его консервативных взглядов.

В начале 1810 года Карамзин через Ф.В. Ростопчина познакомился в Москве с великой княгиней Екатериной Павловной [22, с. 58] и стал регулярно посещать ее резиденцию в Твери. В салоне великой княгини Карамзин стал осваивать роль своеобразного светского духовника членов императорской фамилии.

Время сближения великой княгини и Карамзина было определено некоторыми существенными обстоятельствами внутривластной борьбы. В октябре 1809 года М.М. Сперанский по поручению Александра I составил план либеральных преобразований – «Введение к уложению государственных законов» – и представил его императору. Учреждение Государственного совета в 1810 году свидетельствовало о начале реализации этого плана. Либеральный проект вызвал активное противодействие «русской партии», одним из лидеров которой была великая княгиня. Консерваторы решили использовать в своих целях Карамзина как мощную идейную силу, фигуру, равную Сперанскому по своему интеллекту и возможностям влияния на публику. В 1811 году Екатерина Павловна даже предложила историку пост тверского губернатора, на что тот отвечал, что будет или «дурным историком, или дурным губернатором, тем более что к этой должности не готовил себя» [22, с. 61].

В феврале 1810 года Карамзин читал отрывки из «Истории» великой княгини и великому князю Константину Павловичу, тогда же произошло его знакомство с вдовствующей императрицей Марией Федоровной. «Они пленили меня своей милостью», – писал он брату [22, с. 58]. Основные фигуры династической «консервативной партии» усиленно поощряли его научные занятия. 28 марта 1810 года Карамзин сообщал брату: «Милость ко мне Великой Княгини, Великого Князя Константина Павловича и вдовствующей Императрицы служит для меня не малым ободрением в моих трудах <...> Императрица приказала сказать мне, что она <...> завидует Великой Княгине, которой я читал свою Историю. Константин Павлович также отзывается обо мне с отличным благоволением» [22, с. 58–59].

В конце 1810 года Карамзин начал готовить «Записку о древней и новой России» – документ, в котором содержалась целостная консервативная политическая программа. В ней нашли отражение те критические мысли, которые высказывал Карамзин великой княгине, беседуя с ней о реформах, связываемых с именем Сперанского. В марте 1811 года Записка была передана Александру I. Она содержала в себе цельную концепцию самодержавия как особого, самобытно-русского типа власти, тесно связанного с православием и православной церковью. Самодержавие – «палладиум России», залог ее могущества и процветания. Самодержавная монархия зиждется на союзе монарха с дворянством и духовенством. С точки зрения Карамзина, основные принципы монархического правления должны были сохраняться и впредь, лишь дополняясь должной политикой в области просвещения и законодательства, которые вели бы не к подрыву самодержавия, а к его максимальному усилению. Ограничение же самодержавной власти губительно для России.

Таким образом, самодержавная власть впервые получила развернутую систему аргументации против конституционных и парламентских притязаний нарождавшейся либеральной партии. Не случайно после падения Сперанского в марте 1812 года кандидатура Карамзина на пост статс-секретаря Государственного совета рассматривалась наряду с А.С. Шишковым. Предпочтение было отдано последнему как человеку военному, что было немаловажно в условиях надвигавшейся войны с Наполеоном.

Работу Карамзина над «Историей государства Российского» временно прервала Отечественная война 1812 года. Сам историограф был готов пойти в московское ополчение и покинул город непосредственно перед вхождением в него Наполеона. В 1813 году Карамзин в эвакуации – вначале в Ярославле, затем в Нижнем Новгороде. В Москву он возвратился в июне 1813 года, продолжив работу над своей «Историей», невзирая на то, что в пожаре 1812 года сгорела его библиотека.

В начале 1816 года Карамзин приехал в Петербург просить средств на издание первых восьми томов «Истории государства Российского». Длительное ожидание аудиенции у императора вызвало впоследствии немало мифов. Сам Карамзин воспринял эту двусмысленную ситуацию как пренебрежение к его многолетнему труду. Вместе с тем императрица Елизавета Алексеевна, вдовствующая императрица Мария Федоровна, великая княгиня Екатерина Павловна, великая княгиня Мария Павловна проявили себя как ревностные поклонники Карамзина, всячески его поддерживающие. Личная встреча Карамзина с А.А. Аракчеевым мгновенно решила вопрос о высочайшей аудиенции, в результате которой были выделены необходимые средства на издание «Истории государства Российского». Историограф был награжден орденом Св. Анны 1-го класса. Император отдал распоряжение печатать «Историю государства Российского» без цензуры<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1179 (С.С. Уваров). Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 1.

Она пользовалась огромным успехом. Значение этого грандиозного труда выразил П.А. Вяземский: «Творение Карамзина есть единственная у нас книга, истинно государственная, народная и монархическая» [4, с. 215]. Высокую оценку его труда дал и А.С. Пушкин: «Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. История Государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком мало известна русским: сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требует особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончателные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве» [23, с. 157]. Труд Карамзина – это, безусловно, консервативная версия русской истории. Объективно интерпретировать эту версию в отрыве от истории русского консерватизма невозможно.

С 1816 года и до своей смерти Карамзин жил в Петербурге, общаясь с В.А. Жуковским, С.С. Уваровым, А.С. Пушкиным, Д.Н. Блудовым, П.А. Вяземским и др. По предложению императора Карамзин стал проводить каждое лето в Царском Селе. Государь неоднократно беседовал с ним во время прогулок по царскосельскому парку, тот несколько раз в неделю обедал у него, император постоянно читал в рукописи «Историю государства Российского», выслушивал мнения Карамзина на текущие политические события. Разговоры между царем и историком были содержательными и откровенными. Александр до такой степени доверял Карамзину, что, по свидетельству Погодина, «сказывал еще осенью 1823 г. Карамзину и Екатерине Андреевне, о распоряжении касательно наследства [то есть о передаче престола в случае смерти императора не великому князю Константину Павловичу, а великому князю Николаю Павловичу – А.М.], о котором не знал никто в России, кроме Митрополита Филарета, и князя А.Н. Голицына: один писал Манифест, другой переписывал» [22, с. 393].

Несмотря на определенное сближение с либерально-консервативным кругом авторов литературного общества «Арзамас», противостоящего «Беседе любителей русского слова», Карамзин до конца жизни являлся убежденным консерватором. 29 апреля 1817 года он с иронией писал о конституционных ожиданиях молодых либералов в связи со знаменитой речью Александра I при открытии Сейма в Варшаве: «Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах. Спят и видят конституцию; судят, рядят <...> И смешно и жалко!» [22, с. 206]. В его памятной книжке под 1825 годом содержится и такая запись: «Либералисты! Чего вы хотите? Счастья людей! Но есть ли счастье там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти? Основание гражданских обществ неизменно: Можете низ поставить наверху, но будет всегда низ, и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание. <...> Если государство, при известном образе правления, созрело, укрепилось, обогатилось, распространилось и благоденствует, не троньте этого правления, видно оно сродно, прилично Государству и введение в нем другого было бы ему гибельно и вредно» [12, с. 443].

Необходимым элементом монархических и консервативных взглядов Карамзина был антиконституционализм. В 1818 году он следующим образом охлаждал страстное желание конституции князя П.А. Вяземского: «Дать России конституцию в модном смысле есть нарядить какого-нибудь человека в гаерское платье. <...> Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную, и скорее может упасть, чем еще более возвыситься. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правление было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае.

Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе. <...> потомство увидит, что лучше, или что *было* лучше для России. Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец, и таким умру» [9, с. 204]. В письме к брату, В.М. Карамзину, от 22 мая 1817 года он выражается еще более определенно: «...Шумят о конституциях. Сапожники, портные хотят быть законодателями, особенно в ученой немецкой земле. Покойная французская революция оставила семя, как саранча: из него вылезают гадкие насекомые <...> хмурю брови на дерзкую глупость, на бесстыдное шарлатанство, на подлое лицемерие» [9, с. 238].

Антилиберальная позиция зрелого Карамзина не всегда была однозначно четко им выражена. К примеру, в письмах, относящихся к концу 1810-х годов, он не раз именовал себя «либералистом», подчеркивая при этом, что он «на деле либералист» [17, с. 23]. Поэтому особенно укажем на то обстоятельство, что в конце жизни Карамзин предпочитал не упоминать о былых либеральных и республиканских симпатиях. В 1822 году М.П. Погодин, записал в дневнике со слов П.П. Новосильцева, адъютанта московского градоначальника князя В.Д. Голицына, впоследствии рязанского губернатора, что Н.М. Муравьев «выговаривал однажды Карамзину за его похвалы самодержавию, за монархический дух его “Истории”. Карамзин отвечал: “да не буду я первый в моем Отечестве проповедовать тот другой дух, который омыл кровью всю Европу”» [2, с. 177]. Особенно показательна была реакция Карамзина на события 14 декабря 1825 года. В письме к И.И. Дмитриеву от 19 декабря он писал об «ужасных лицах», «ужасных словах» «безумцев с “Полярною звездой”, Бестужевым, Рылеевым и достойными их клеветами». «Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни Митрополит, не действовали. <...> Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Дай Бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ними не так много! Солдаты были только жертвою обмана» [22, с. 466–467]. Такова финальная оценка деятельности русских либералов, оставленная Карамзиным.

Смерть Александра I потрясла Карамзина, а мятеж 14 декабря надломил его физические силы (в этот день он простудился на Сенатской площади, болезнь перешла в чахотку и смерть).

Роль Карамзина как деятеля культуры и русской историографии в целом осознана в русской мысли. Однако его значение как консервативного мыслителя, оказавшего определяющее влияние на консервативно-патриотическую мысль, русским историкам и философам еще предстоит раскрыть.

## Литература

1. *Альтшуллер М.* Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. М., 2007.
2. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1888. Т. 1.
3. *Бочкарев В.Н.* Консерваторы и националисты в России в начале XIX века // Отечественная война 1812 года и русское общество. М., 1911. Т. II.
4. *Вяземский П.А.* Проект письма к С.С. Уварову // *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. СПб., 1879. Т. 2.
5. *Грот Я.К.* Очерк деятельности и личности Карамзина, читанный академиком Я.К. Гротом // Торжественное собрание императорской Академии Наук, в память столетней годовщины рождения Н.М. Карамзина. СПб., 1867.
6. *Дмитриев И.И.* Взгляд на мою жизнь // *Дмитриев И.И.* Сочинения. М., 1986.
7. *Довнар-Запольский М.В.* Обзор новейшей русской истории. Киев, 1914. Т. 1.
8. *Карамзин Н.М.* Всеобщее обозрение // Вестник Европы. 1802. № 1.
9. *Карамзин Н.М.* Избранные статьи и письма. М., 1982.
10. *Карамзин Н.М.* Историческое похвальное слово Екатерине II // *Карамзин Н.М.* О древней и новой России: Избранная проза и публицистика. М., 2002.
11. *Карамзин Н.М.* Мелодор к Филалету // *Карамзин Н.М.* О древней и новой России: Избранная проза и публицистика. М., 2002.

12. *Карамзин Н.М.* Наталья, боярская дочь // *Карамзин Н.М.* О древней и новой России: Избранная проза и публицистика. М., 2002.
13. *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости // *Карамзин Н.М.* О древней и новой России. М., 2002.
14. *Карамзин Н.М.* О новых благородных училищах, заводимых в России // *Вестник Европы.* 1802. № 8.
15. *Карамзин Н.М.* О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств // *Вестник Европы.* 1802. № 24.
16. *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1987.
17. *Китаев В.А.* Век XIX: пути русской мысли. Нижний Новгород, 2008.
18. *Ключевский В.О.* Н.М. Карамзин // *Карамзин: pro et contra.* СПб., 2006.
19. *Кочеткова Н.Д.* Н.М. Карамзин и древнее благочестие // *Карамзин: pro et contra.* СПб., 2006.
20. *Лотман Ю.М.* Карамзин. СПб, 1997.
21. *Погодин М.П.* Историческое похвальное слово Карамзину // *Карамзин: pro et contra.* СПб, 2006.
22. *Погодин М.П.* Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями. М., 1866. Ч. II.
23. *Пушкин А.С.* О народном воспитании // *Карамзин: Pro et contra.* СПб., 2006.
24. *Пыпин А.Н.* Общественное движение в России при Александре I. СПб., 2001.
25. *Шишков А.С.* Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка // *Шишков А.С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1824. Ч. II.
26. *Martin A.* Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb, 1997. P. 30.

*Аннотация.* В статье рассматриваются основные эпизоды интеллектуальной деятельности Николая Михайловича Карамзина, одной из самых значительных фигур в истории русского консерватизма. На начальном этапе своей деятельности Карамзин был поклонником идей европейского Просвещения, западником и космополитом. В ходе путешествия Карамзина по Европе в 1789–1790 годах в его мировоззрения впервые появились консервативные мотивы, которые усилились по мере радикализации событий в революционной Франции. К началу царствования Александра I Карамзин уже стоял на вполне определенных либерально-консервативных позициях, которые нашли отражение на страницах редактируемого Карамзиным журнала «Вестник Европы». Он выступал против галломании, создал программу национального просвещения. По мере нарастания военной угрозы со стороны наполеоновской Франции консервативные элементы в мировоззрении Карамзина усиливаются, вытесняя либеральные. В «Записке о древней и новой России» он выступает уже как бесспорный идейный лидер русских консерваторов. К концу жизни Карамзин занимал последовательно антилиберальную позицию.

*Ключевые слова:* Н.М. Карамзин, консерватизм, эволюция общественно-политических взглядов Карамзина.

Arkady Minakov, Ph.D. in History, Professor, Voronezh State University; Director, Center for Conservative Studies. E-mail: minak.arkady2010@yandex.ru

### **The Founder of Russian Conservatism**

*Abstract.* The article examines the major events of intellectual activity of Karamzin, one of the most significant figures in the history of Russian conservatism. At the initial stage of his activities Karamzin was an admirer of the ideas of European Enlightenment. During his journey in Europe his worldview first showed signs of conservative trends, that increased with the radicalization of the events in revolutionary France. By the beginning of the reign of Alexander I, Karamzin had already well-defined liberal-conservative views, that were reflected in the “Vestnik Evropy” magazine edited by him. He opposed Gallomania and created a program of national education. With the growth of Napoleonic France military threats. conservative elements in the worldview of Karamzin increased, replacing liberal ones. In his “Note on Ancient and New Russia”, he appeared already as the undisputed leader of Russian conservatives. In his late years Karamzin adhered consistently to anti-liberal positions.

*Keywords:* N.M. Karamzin, Conservatism, Evolution of Socio-Political Views of Karamzin.

## **У истоков российского консерватизма: Николай Карамзин и Жозеф де Местр**

1803 год в российской истории вроде бы не отмечен каким-либо памятным событием, имеющим общенациональное, а тем более мировое значение. Обычный год, один из многих. Так кажется на первый взгляд, когда мы перелистываем календарь и не находим в этом году дат, сопоставимых, например, с тем, что произошло в 1801, 1812 или 1825 годах. Но именно в этом году произошли два события, которые уже в недалеком будущем сыграли ключевую роль в выборе пути развития Российской империи. Это – приезд в мае в Петербург в качестве посланника сардинского короля одного из классиков (наряду с Э. Бёрком) европейского консерватизма Жозефа де Местра и назначение высочайшим указом от 31 октября будущего классика консерватизма российского Николая Карамзина на должность официального историографа.

Опять же поначалу не совсем понятно, как связаны эти события между собой, особенно если учесть, что де Местр вплоть до высылки из России в мае 1817 года практически не покидал Санкт-Петербург, а закоренелый москвич Карамзин приехал в столицу лишь в 1816 году – через двадцать лет после последнего туда визита! Знали ли они друг о друге? Несомненно. Общались ли? Весьма вероятно. Но предполагали ли они, что именно их Записки, адресованные императору Александру I в 1811 году, предопределят судьбу государства Российского на столетие (или – столетия) вперед? На этот вопрос можно ответить вдвойне утвердительно, поскольку не только предполагали, но и сознательно именно на это и рассчитывали.

Помимо судьбоносного имперского масштаба есть в этой истории и чисто личностный аспект. И Карамзин в своей «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», и де Местр в своих «Четырех главах о России» обращались к российскому императору с достаточно дерзкой просьбой – остановить им же самим инициированный и отчасти уже воплощенный проект радикального реформирования России. Что неизбежно означало – отстранить от дел того, кто от имени и по поручению Александра составил план реформ и начал активно их осуществлять. Речь, разумеется, о секретаре Государственного Совета Михаиле Михайловиче Сперанском.

### 1

Его блистательный карьерный взлет и стремительное падение накануне войны с Наполеоном хорошо изучены историками. Зависть к «поповичу», выходцу из среды низшего провинциального духовенства, придворные интриги

*Поляков Леонид Владимирович, доктор философских наук, профессор Департамента политической науки Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики; член Экспертного совета Фонда ИСЭПИ. E-mail: leopolen@yandex.ru*

против задевшего многие корпоративные интересы реформатора привели к его внезапной отставке и ссылке в Нижний Новгород 17 марта 1812 года. Но одно дело – слухи, доносы и провокации со стороны царедворцев, и совсем другое – своего рода вызов на заочную интеллектуальную дуэль, который был брошен Сперанскому сначала Карамзиным, а затем и де Местром. Ведь, ссылая Сперанского, Александр действительно, по его собственным словам, всего лишь «уступал моим подданным» [10, с. 147], но вместе с тем после постепенной реабилитации реформатора император к ключевым положениям реформы (созыв Государственной Думы, принятие Конституции и отмена крепостного права) все-таки не вернулся. Это могло означать, что критика реформы со стороны Карамзина и де Местра возымела свое действие, и, возвращая Сперанского на значимые государственные посты, император, однако, передумал давать ход его – а на самом деле своим собственным<sup>1</sup> – центральным идеям.

Именно поэтому прежде чем заняться сравнительным анализом записок Карамзина и де Местра, необходимо обрисовать в общих чертах план их оппонента. План этот был изложен в четырех текстах, представленных императору в течение 1809 года. Это: «Введение к Уложению государственных законов (план всеобщего государственного образования)», «Проект Уложения государственных законов Российской Империи», «Краткое начертание государственного образования» и «Общее обозрение всех преобразований и обозрение их по временам».

Первый текст – это политико-философское и методологическое обоснование всего проекта радикальной реформы государственного устройства империи с его детальным описанием и обоснованием. Второй документ – специальное описание полномочий и прерогатив императорской власти в ее взаимоотношениях с остальными государственными институтами. Текст третий – концентрированное изложение структуры и функций органов государственной власти всех уровней. Наконец, документ последний подводит смысловой итог всем планируемым преобразованиям и устанавливает для них четкие временные рамки. Первая же фраза документа четко определяет смысл всех реформ: «Сила всех преобразований состоит в том, чтобы постановить образ правления Империи на непременимом законе, дать внутреннее политическое бытие России» [7, с. 405]. А завершается он таким оптимистическим пассажем: «Если Бог благословит все сии начинания, то к 1811 г., к концу десятилетия настоящего царствования Россия воспримет новое бытие и совершенно во всех частях преобразуется» [7, с. 410].

В самом общем виде план Сперанского (и самого Александра I) состоял в том, чтобы ввести в России систему разделения властей по горизонтали и вертикали, закрепив ее посредством принятия Конституции. По горизонтали предстояло создать институты законодательной, исполнительной и судебной власти, с тем чтобы потом спроецировать эту структуру с общеимперского на губернский, окружной и волостной уровни. Эта по сути республиканская структура дополнялась властью монарха, которая, не теряя своих прежних полномочий (решающее слово при принятии любого закона оставалось за императором, как и его руководство исполнительной властью), тем не менее вписывалась в строго очерченные конституционные рамки.

Этот самый проблемный момент Сперанский трактует с ошеломляющей прямоотой, утверждая: «Общий предмет преобразования состоит в том, чтобы

<sup>1</sup> Не случайно сам Сперанский в письме Александру от 1813 года подчеркивал, что «план всеобщего государственного образования» по сути своей «не содержал ничего нового, но идеям, с 1801 г. занимавшим Ваше внимание, дано в нем систематическое расположение» [7, с. 572].



правление, *доселе самодержавное* [курсив мой – Л.П.], постановить и учредить на непременимом законе» [7, с. 350]. И специально поясняет, что требуемое в России «устройство состоит в том, чтобы не внешними только формами покрыть самодержавие, но *ограничить* (курсив мой – Л.П.) его внутреннюю и существенную силою установлений и учредить державную власть на законе не словами, но самым делом» [7, с. 350].

Читая подобные фразы, неизбежно задаешься вопросом: что могло побудить самодержца всероссийского одобрить реформу, ограничивающую собственную власть? Так же как и вопросом еще более важным: как мог Сперанский вообще осмелиться размышлять на этот счет? А тем более предлагать четкий план по трансформации самодержавия в конституционно ограниченную «державную власть»?! Ведь вполне могло быть так, что Александр, предлагая своему ближайшему помощнику этот сюжет, на самом деле задумывал просто испытывать его на лояльность. И Сперанский, прошедший до этого заметные ступени карьерной лестницы и хорошо знавший нравы и дух двух предыдущих царствований, должен был бы быть предельно чуток и осторожен именно в таких вопросах. В былые (екатерининские, а тем более – павловские) времена речь могла пойти не просто об отставке, но и о мерах куда более крутых. И тем не менее...

Конечно, реформаторский настрой Александра можно отчасти объяснить памятью об эксцессах отцовского самодержавства, отягощенной к тому же травмой невольного соучастия в отцеубийстве. Власть, с одной стороны, ничем не неограниченная, но, с другой стороны, именно поэтому и совершенно ненадежная, зависящая не от законов и институтов, а от интриг и заговоров ближайшего окружения, должна была восприниматься новым императором как весьма коварное наследство. И сделать ее одновременно и максимально эффективной и максимально защищенной было для Александра вполне естественным стремлением. Но это стремление самодержца еще надо было настолько грамотно и убедительно аранжировать, что само такое предприятие превращалось в рискованную игру с непредсказуемым результатом.

Однако Сперанский нашел такие беспроегрышные ходы, которые не только продвинули его по карьерной лестнице, поставив по степени влияния в империи на второе место после государя, но и обеспечили мощный реформаторский рывок. И не его вина, что «дней Александровых прекрасное начало» не нашло продолжения, а тем более завершения. Вмешалась внешняя сила – Наполеон. Но еще до этого вмешательства умонастроение Александра стало меняться под воздействием контрреформаторской критики со стороны таких двух выдающихся интеллектуалов, как Карамзин и де Местр. Они оба сумели поколебать само основание той логики Сперанского, с помощью которой он сумел убедить российского самодержца в необходимости отказа от самодержавия.

Для того чтобы понять эту логику и ее основание, необходимо обратиться к «отделению второму» «Введения к уложению государственных законов», в котором Сперанский излагает свои тезисы «О разуме государственного уложения». В переводе на современный русский научный язык здесь речь идет о построении универсальной классификации политических систем, представленной в диахронном формате и спроецированной на конкретный российский случай. Уже сам этот заход повышал статус всего предприятия, поскольку вписывал российскую государственную реформу в контекст всемирной истории и приводил александровское царствование в полное соответствие с тем, что на языке той эпохи именовалось «духом времени». Что мог возразить Александр своему помощнику, читая такие слова: «Итак, время есть первое начало и источник всех политических обновлений. Никакое правительство, с духом времени не сообразное, против всемогущего его действия устоять не может»? [7, с. 343].

Но о каком именно времени говорит Сперанский? О большом, историческом времени, в котором происходит взаимозамена трех «великих систем» – республиканской, феодальной и деспотической. Сперанский не чужд того, чтобы придать этим системам и определенную геолокацию, указывая, что республики сначала обнаружили в Греции и Риме, феодальная система – на Севере с последующим распространением по всей Европе, а деспотическая – на Востоке. Но эта геопривязка для него не существенна, поскольку его главное внимание направлено на то, чтобы выявить историческую динамику системных перемен именно в Европе, коль скоро именно в ней законное место России. А динамика эта такова. От античных республик в Европе совершается переход к феодальной системе, а затем после крестовых походов и централизации власти эта система трансформируется в то, что Сперанский определяет как «феодальное самодержавие».

Дальнейшая трансформация европейского феодального мира представляет собой как бы возврат к античному республиканскому порядку, но под влиянием трех факторов. Как уточняет Сперанский, «время, просвещение и промышленность предприняли воздвигнуть новый вещей порядок, и приметить должно, что, на все разнообразие их действия, первоначальная мысль, движущая их, была одна и та же – достижение политической свободы».

Таким образом приуготовился третий переход от феодального правления к республиканскому, основался третий период политического состояния государств» [7, с. 344].

Представив Александру всемирно-историческую и конкретно европейскую логику движения «духа времени», Сперанский обнаруживает ее действие и в России. Удельный период он определяет как господство феодальной системы. «Татарские походы» в царствование Ивана Грозного сыграли ту же роль, что и крестовые походы в Европе – их результатом стало установление системы «феодального самодержавия». И с того времени, то есть с конца XVI века и «до дней наших, – утверждает Сперанский, – напряжение общественного разума к свободе политической всегда более или менее было приметно» [7, с. 345].

Насколько убедителен перечень этих «напряжений» начиная с царствования Алексея Михайловича и заканчивая царствованием Павла I, вопрос интересный, но для нашего сюжета не решающий. Что понимал и сам Сперанский, для которого самым важным было убедить Александра в том, что именно в его царствование настал тот самый момент, когда «дух времени» властно требует перехода от «самодержавия» к «свободе». С этой целью он приводит четыре аргумента, которые, с его точки зрения, неопровержимо свидетельствуют о глубочайшем системном кризисе, выход из которого возможен только посредством системной же реформы.

Во-первых, Сперанский обращает внимание императора на то обстоятельство, что чины и награды перестали быть предметом гордости и «народного уважения». И это грозный симптом, поскольку он обнаруживается «и во всех других государствах в той эпохе, когда феодальная система приближалась к своему падению» [7, с. 348]. Аккуратно поместив ссылку на Французскую революцию в подстрочную сноску, Сперанский тем не менее ясно намекал на то, какое будущее может ожидать Александра, если он промедлит с реформой.

Во-вторых, Сперанский прямо пишет об «ослаблении власти», различая власть «физическую» и «моральную». Если с первой пока еще все в порядке, то вторая в стране фактически отсутствует: «Какая мера правительства не подвержена ныне осуждению? Какое благотворное движение не искажено и не перетолковано?». И ответ на эти риторические вопросы однозначен: «Одна есть

истинная сему причина: образ мыслей настоящего времени в совершенной противоположности с образом правления» [7, с. 348].

Зафиксировав то, что на современном языке должно быть обозначено как кризис легитимности, Сперанский далее, в-третьих, утверждает, что преодолеть его методом частичных улучшений невозможно. И опять же в сноске он указывает, что в нынешней ситуации расхождения образа правления с «духом времени» вина за всякий мелкий непорядок обязательно будет возлагаться на государя: «В настоящем положении нельзя даже с успехом положить какой-нибудь налог, к исправлению финансов необходимо нужный, ибо всякая тягость народная приписуется единственно самовластию. Одно лицо государя отвечает народу за все постановления, совет же и министры всегда, во всякой мере тягостной, могут отречься от участия там, где нет публичных установлений» [7, с. 349].

Наконец, Сперанский, в-четвертых, обнаруживает в стране «общее выражение пресыщенности и скуки от настоящего вещей порядка» и утверждает: «Как можно изъяснить сие беспокойствие иначе, как совершенным изменением мыслей, глухим, но сильным желанием другого вещей порядка» [7, с. 349].

Закономерный вывод из всех этих наблюдений за состоянием «общественного мнения» России первого десятилетия XIX века заключается в том, «что настоящая система правления несвойственна уже более состоянию общественного духа и что настало время переменить ее и основать новый вещей порядок» [7, с. 349].

Итак, реформы начались и продвинулись довольно далеко. Введение экзаменов на получение гражданских чинов, реформа финансов, включавшая обращение бумажных денег, так называемых ассигнаций, выделение исполнительной ветви власти в виде министерств и превращение Сената в высший судебный орган, наконец, учреждение Государственного Совета и назначение самого Сперанского на должность государственного секретаря – все шло вроде бы по плану. Но к началу 1811 года «новый вещей порядок» в России все еще не установился, и надежд на то, что в ближайшее время он установится, становилось все меньше. Александру предстояло сделать три главных решающих шага: создать высший законодательный орган страны – Государственную Думу, поручить ей принятие Уложения государственных законов, то есть Конституцию, и, *horribile dictu*, начать процесс отмены крепостного права.

Необходимость последней меры диктовалась не только тем, что, как писал Сперанский, «права гражданские, то есть безопасность лица и имущества, суть первое и неотъемлемое достояние всякого человека, входящего в общество». И не только тем, что уже существуют «государства обширные и многочисленные, в коих рабство сего рода мало-помалу уничтожилось» [7, с. 361]. Дело в том, что только превращение всего населения страны в дееспособных граждан, обладающих общими гражданскими правами, с последующим добавлением особым сословиям гражданских прав частных и цензовым ограничением в отношении прав политических могло стать надежным фундаментом новой политической системы. Такую систему можно определить как своего рода «республиканскую монархию», ближайшим аналогом которой являлась, по-видимому, британская система, возникшая после «славной революции» 1688 года и которую Э. Берк характеризовал как пример «свободного правления».

Как известно, эти решающие три шага были все-таки сделаны, но уже иными государями и в иные времена. Сначала через пятьдесят лет было отменено крепостное право, затем еще почти полвека спустя сначала дарована Конституция и лишь затем созвана Государственная Дума. И тут же Россию потрясла революция, именно ради избежания которой Сперанский и призывал

Александра I дать стране «внутреннее политическое бытие»<sup>1</sup>. За ответом на вопрос, почему эти три шага не были сделаны в свое время, мы и обратимся к Карамзину и де Местру.

## 2

История знакомства Александра I с карамзинской «Запиской о древней и новой России» хорошо известна, хотя оригинал этой Записки утерян и, видимо, навсегда. Она написана Карамзиным по просьбе сестры императора Екатерины Павловны и представлена ей в феврале 1811 года. В марте во время одного из визитов императора к сестре в Тверь состоялась его беседа с историографом, и тогда же Александр прочитал Записку. По воспоминаниям, прощание императора с Карамзиным было достаточно холодным, но этот холод никак не повлиял ни на положение Карамзина, ни на судьбу той «Истории государства Российского», восемь томов которой через семь лет станут всероссийским бестселлером. Зато, по всей вероятности, повлияло на ход реформ, а через год – и на судьбу самого реформатора.

Впрочем, государев холод вполне мог быть только маской, скрывавшей ту глубокою озадаченностью, в которую ввел его карамзинский текст. Ибо, по форме будучи глубоко и безукоризненно верноподданическим, по сути своей он был дерзостью, превосходившей даже ту, которую позволил себе Сперанский в цитированных выше документах. Историограф дерзал критиковать второго человека в государстве, понимая, что за ним и его реформами стоит само первое лицо!

Вот как он оговорил само право обращаться к государю с предельной откровенностью: «Доселе говорил я о царствованиях минувших – буду говорить о настоящем, с моею совестью и с государем, по лучшему своему разумению. Какое имею право? Любовь к Отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне Богом способности, некоторые знания, приобретенные мною в летописях мира и в беседах с мужами великими, т.е. в их творениях. Чего хочу? С добрым намерением – испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история» [1, с. 47].

Аргумент от истории, причем не только будущей (что на самом деле напоминало вызов Александра на «суд истории»), но и истории прошедшей, – уже встречался нам в текстах Сперанского. Но формальное сходство аргумента не должно скрывать от нас глубочайшего расхождения между Карамзиным и Сперанским по существу. Последний строил универсальную (общеевропейскую как минимум) историческую схему, в логике которой интерпретировалась и история собственно российская. С вполне логичным выводом о том, что пришла пора основать самодержавие «на непремняемом законе». Карамзин же работает в иной методологии: он исследует конкретную – русскую – историческую традицию, пытается выявить в ней собственные закономерности, позволяющие объяснить причины могущества Государства Российского и, соответственно, адекватно оценить любые предлагаемые реформаторские инновации.

Прежде всего историограф пытается объяснить «чудо» – появление сильного Московского государства на северо-восточной окраине Европы. И объяснение он строит, утверждая, что «история наша представляет новое доказатель-

<sup>1</sup> Соблазн перевести разговор на эту тему в сослагательное наклонение замечательно выражен Натаном Эйдельманом: «Разумеется, мы не можем уверенно сказать, что было бы, если б Сперанский взял тогда верх. Однако имеем право предполагать, что для страны это было бы *хорошо*; что глубоко продуманный, тщательно разработанный план мог на много десятилетий ускорить российский прогресс; что серьезные реформы уже назрели и были бы *естественными*...» [12, с. 70].

ство двух истин: 1) для твердого самодержавия необходимо государственное могущество; 2) рабство политическое не совместимо с гражданской вольностью» [1, с. 22].

Истина первая выглядит несколько необычно, если мы помним (и вспомним не раз), что по Карамзину именно «твердое самодержавие» обеспечило России государственное могущество. Однако объяснение этому парадоксу есть и заключается оно в том, что эту универсальную истину Карамзин погружает в специфический древнерусский контекст. И тогда выясняется, что в первоначальную эпоху Древней Руси «самодержавие» первых князей Олега, Владимира и Ярослава замечательно сочеталось с вечевым порядком городов. Но как только Древняя Русь распалась на «многие области независимые» – первоначальное государственное могущество исчезло, а вместе с этим исчез и фундамент для самодержавия.

Ордынское завоевание Древней Руси – иллюстрация второй истины. Русь, превратившись в Западный улус Золотой Орды, потеряла политическую независимость. И ее князья, получая в Орде ярлык на великое княжение, оказались независимы от сограждан. Тем легче оказалось для них ликвидировать «все остатки древней республиканской системы» и основать то, что Карамзин аттестует как «истинное самодержавие» [1, с. 22].

Мы видим, что историограф оперирует почти теми же ключевыми политическими терминами, что и реформатор, говоря о самодержавии (правда не «феодальном», а – «истинном») и «республиканской системе». Но различие состоит в том, что Сперанский рассматривает республику как институт, однажды созданный в древнегреческом и древнеримском прошлом и долженствующий стать универсальным политическим институтом будущего человечества<sup>1</sup>. А для Карамзина республиканизм – это архаичный политический институт, сыгравший важную роль в генезисе российской государственности на определенном этапе, но именно поэтому не подлежащий экстраполяции на этапы последующие. А тем более – на будущее страны с пятисотлетней самодержавной традицией.

Приговор Карамзина в этом отношении однозначен: «Сие великое творение князей московских было произведено не личным их геройством (...) но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием» [1, с. 22].

Каким же образом в «нынешнее царствование» возникла идея реформировать этот спасительный институт? Карамзин аккуратно напоминает государю, что возникли два «господствующих мнения»: «одни хотели, чтобы Александр в вечной славе своей взял меры для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе; другие, сомневаясь в надежном успехе такового предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатерины царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла» [1, с. 47–48].

Описывая эту борьбу, условно говоря, «партии будущего» с партией «по-запрошлого», Карамзин не занимает позицию стороннего наблюдателя. Напротив, он активно вмешивается в нее на стороне «екатерининцев», выдвигая против оппонентов аргумент, подрывающий всякую практическую возможность ограничения самодержавия. Даже если принять закон (Конституцию), которому должен будет подчиняться государь, то кто будет гарантом его исполнения, резонно спрашивает Карамзин. Если Сенат или Государственный Совет, то воз-

<sup>1</sup> На источник такого взгляда Сперанского пронцательно указал де Местр: «Мне однажды только удалось говорить с ним и я заметил, что он последователь Канта» [10, с. 132].

никает следующий вопрос: как будут формироваться эти органы власти? Если по воле государя, то там будут заседать «угодники царя», а если включить механизм выборов, то мы получим независимую власть – «вижу аристократию, а не монархию», резюмирует Карамзин.

Поэтому относительно спора этих двух «партий» его вердикт таков: «Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто. Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия?» [1, с. 48].

Настаивая на принципиальной неограниченности самодержавия в России, Карамзин пускается в весьма рискованное с логической точки зрения предприятие. Он включает в текст Записки следующую гипотетическую речь «истинного добродетельного гражданина российского», которую он должен был бы произнести перед самодержцем, готовым предписать себе законы, иные «кроме Божиих и совести»: «Государь! Ты преступаешь границы своей власти: наученная долговременными своими бедствиями Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!..» [1, с. 48].

С одной стороны, здесь перед нами очевидное противоречие в терминах: если власть самодержца ничем не ограничена, то он властен делать все, что угодно, в том числе и ограничивать собственную власть. Или он не самодержец. Но, с другой стороны, ограничивая сам себя, самодержец перестает соответствовать своему понятию – и это тоже логическое противоречие! Но дело не столько в этой апории, сколько в том, что Карамзин фактически ставит Александра перед тем выбором, который старался максимально замаскировать Сперанский, выстраивая конструкцию «республиканской монархии». А именно: царю нужно четко осознать, что никакого «третьего» в России не дано, а есть простой выбор по принципу «или – или». Или ничем не ограниченное самодержавие, или исключаящая всякое самодержавие республика.

Карамзин писал свою Записку, глядя только на ту часть реформ, которая уже осуществилась. Но можно только догадываться, что он сказал бы, узнав о замысле Сперанского учредить российский парламент – Государственную Думу! Зато нет необходимости догадываться о его реакции на идею отмены крепостного права. На этот счет в Записке сказано немного, но достаточно для того, чтобы снискать славу закоренелого крепостника. Впрочем, попробуем вникнуть в его аргументы.

Для начала отметим, что идея эта Александром никогда публично не оглашалась, и Карамзин целиком возлагает ответственность за неё на правительство, которое «имело, как уверяют, намерение дать господским людям свободу» [1, с. 70]. К этой теме он, как обычно, подходит с исторической точки зрения, указывая на принципиальное различие между институтом «холопства», существовавшим в Древней Руси с IX века, и «вольными хлебопашцами», населявшими государство с тех же времен. Это важно, поскольку с момента отмены «Юрьева дня» в царствование Бориса Годунова и те, и другие оказались навечно прикреплены к определенным землевладельцам – и «вот начало нового рабства» [1, с. 71]. С учетом этого обстоятельства, утверждает Карамзин, в сегодняшней России уже невозможно разобраться, кто является потомком «вольных хлебопашцев» и может «по справедливости, требовать прежней свободы», а кто происходит от «холопов» и требовать этого не имеет права.

К аргументу историческому в пользу сохранения института крепостного права Карамзин прибавляет еще несколько. Во-первых, аргумент экономический. «Что значит освободить крестьян? – спрашивает историограф. – Дать им волю жить, где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства. Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая – в чем не может быть и спора – есть собственность дворянская». Дальнейшая перспектива печальна как для национальной экономики – «не останутся ли многие поля не обработанными, многие житницы пустыми?» [1, с. 72], так и для самих освобождаемых крестьян.

Дело в том, что, лишившись опеки своих господ, освобожденные без земли крестьяне окажутся не готовыми к полноценной гражданской свободе, риски которой перевешивают, по убеждению Карамзина, все плюсы, вытекающие из строгого следования императиву «естественного права». «И будут ли земледельцы счастливы, – задаётся он риторическим вопросом, – освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным?» [1, с. 73].

Но самый веский аргумент против *немедленной* отмены крепостного права связан у Карамзина, естественно, с приоритетом государственной целесообразности. Отсюда опять-таки дерзкое напоминание Александру: «Первейшая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целостность государства; благотворить состояниям и лицам есть уже вторая. Он желает сделать земледельцев счастливее свободою; но ежели сия свобода вредна для государства?» [1, с. 73].

Прекрасно понимая, что, убеждая государя сохранить крепостное право, он фактически подставляет его (а так же и самого себя!) под огонь критики с позиции вечных моральных ценностей, к которым в обществе христианском, несомненно, относится и личная свобода, Карамзин прибегает к такому оправданию. Осторожно соглашаясь признать крепостничество злом («положим, что неволя крестьян и есть решительное зло» [1, с. 74]), он настаивает на тезисе, согласно которому свобода требует соответствующей моральной готовности человека. А именно этого у крепостных крестьян сегодня и нет: во времена Годунова «они имели навык людей вольных – ныне имеют навык рабов» [1, с. 73].

Отсюда окончательный и, как представляется Карамзину, морально неуязвимый совет, согласно которому «для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным» [1, с. 74].

Записка Карамзина содержит развернутый критический анализ всех реформ и действий «правительства» (фактически – Сперанского) как во внешней, так и во внутренней политике. И во всех случаях приговор один – неудачно, не нужно, не своевременно. Историограф отстаивает права истории – старого традиционного порядка, сложившегося в царствование Екатерины Великой. А попытку Сперанского осовременить Россию, да еще заимствуя при этом институты наполеоновской Франции, он дезавуирует следующим образом: «Но где видим гражданское общество, согласно с истинною целью оною, в России ли при Екатерине II, или во Франции при Наполеоне? Где более произвола и прихотей самовластия? Где более законного, единообразного течения в делах правительства?» [1, с. 63]. Поэтому, задавая эти риторические вопросы, Карамзин и отваживается на императивный тон: «Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой!» [1, с. 63].

Тут мы имеем дело с весьма деликатным моментом, связанным с вопросом о том, к кому обращено требование? К Сперанскому ли? Но какой смысл требовать от него того, что он дать не может по определению, будучи убежденным реформатором?! К Александру ли? Но не явилось бы это дерзостью уже

совсем запредельной?! Хотя царь мог понять это место в Записке и в первом, и во втором смыслах, однако в действительности это скорее требование Карамзина к самому себе, по понятной причине завуалированное. Историограф не был ловким царедворцем, чинов и званий не заискивал, в интригах не участвовал, тем не менее прекрасно понимая грань между ролью царского как бы внештатного «советника» и ролью непрошенного «учителя мудрости». Именно поэтому Записка построена как историческая справка и критический анализ «правительственных» реформ, а не как свод поучений «хранительной мудрости». Ведь в конечном счете мудрость придворного (а им историограф был по чину и статусу) заключается в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не выглядеть мудрее самого государя.

Отсюда тот способ, с помощью которого Карамзин все-таки представил царю своеобразный свод принципов «мудрости хранительной». Они вкраплены в разные места Записки и представляют собой своего рода афоризмы консервативной политической философии. Но сведенные вместе, они оказываются тем, что можно было бы назвать «инструкцией по безопасности», которую обязан прочитать и вы зубрить наизусть каждый, кто задумает реформировать действующий государственный механизм. Еще одна особенность этой «инструкции» состоит в том, что каждый ее пункт привязан к конкретному событию или сюжету российской истории, а потому смотрится как вывод из реального государственного опыта, а не как априорное предписание самоназначенного «мудреца».

Особенно нагляден в этом отношении **принцип первый**. Описывая сюжет с Лжедмитрием – его возвышением и последующим падением, Карамзин деликатно сообщает, что россияне «постепенно перестали уважать его, наконец, возненавидели», а в итоге «возложили руку на самозванца» [1, с. 26–27]. Казалось бы, народное восстание против поддержанного чужеземцами проходимца, дискредитировавшего российский царский трон, должно было вызвать у историографа как минимум симпатию, если не всецелую поддержку. Однако вывод из этого эпизода сделан совсем другой: «Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей, или заблуждений государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного исступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителя. Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали в верности: горе его преемнику и народу!» [1, с. 27].

**Второй принцип** развивает и поддерживает тему «мудрости целых веков», необходимой для легитимации властного порядка. Оценивая деятельность «советников Александровых», которые вместо того, чтобы *исправлять* недостатки екатерининской системы, «захотели новостей в главных способах монаршего действия», Карамзин формулирует такое «правило мудрых»: «всякая новость в государственном порядке есть зло, к которому надо прибегать только в необходимости: ибо одно время дает надлежащую твердость уставам; ибо более уважаем то, что давно уважаем и все делаем лучше от привычки» [1, с. 56].

**Третий принцип**, навеянный подсказкой Макиавелли, трактует сюжет с политической диалектикой добра и зла. Если, согласно предыдущему принципу, любая политическая инновация – зло, то это не означает автоматически, что наличный властный порядок есть добро. Вопрос о выборе между инновацией и консервацией решается не с помощью моральных категорий, а с помощью адресации к неизменным законам человеческой природы. Даже если считать существующий порядок «злом», все равно, утверждает Карамзин, лучше позаботиться о его сохранности (путем *исправления!*), чем радикально его менять: «Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится» [1, с. 40].



**Принцип четвертый** нацелен против центрального пункта любой радикально-реформаторской идеологии, а именно, против тезиса о том, что главное – создать *правильные* институты. Карамзин по поиску «правильности» противопоставляет убежденность в том, «что люди в главных свойствах не изменились», а потому Александру стоит помнить: «Сие искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое для государя российского; без сего искусства тщетно будете искать народного блага в новых органических уставах!..» [1, с. 104–105]<sup>1</sup>.

Этот ключевой выбор в пользу умения выбирать правильных людей и *правильно* с ними обращаться не означает, что Карамзин предлагает государю модель, так сказать, «ручного управления» вместо государственной системы. Такая система, основанная на законах, должна существовать, только обосновывающие ее законы нужно устанавливать, ориентируясь не на абстрактную «правильность», а на национальную традицию. Утверждая, что конституционный проект Сперанского фактически есть перевод Кодекса Наполеона, Карамзин, формулируя **принцип пятый**, напоминает Александру, что даже такой инноватор, как Петр I, «ведал, что законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств» [1, с. 91].

Понятно, что в этом сюжете Карамзин следует не раз упоминаемому им Монтескье, который, хотя и принадлежит хронологически «веку Просвещения», во многом закладывает основания уже консервативной рефлексии на просвещенческий политический рационализм. И у самого Карамзина поэтому следует зафиксировать важнейший **принцип шестой**. Он представляет собой ответ на ключевой тезис просвещенческой идеологии, согласно которому все народы (европейские по меньшей мере) должны переходить от «темных веков» к просвещенному состоянию, в котором все они обретут единые и единственно правильные государственные и общественные формы. Точнее – одну, универсально-правильную форму. Как метафорически сформулировал эту идею Кант: «*Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине*» [13, с. 127]. Карамзин же, напротив, утверждает: «Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, науки, искусства не имеют иной цены» [1, с. 33].

**Седьмой принцип** поясняет тему «благоденствия», которое Карамзин предлагает понимать отнюдь не в примитивно-материальном ключе. Вовсе не призывая к аскезе, он напоминает, что «1) за деньги не делается ничего великого; 2) изобилие располагает человека к праздной неге, противной всему великому» [1, с. 104].

Историческая справка вкупе с критическим анализом проведенных реформ, искусно совмещенная со сводом «мудрости хранительной», дает возможность Карамзину обрисовать контур той России, на которую должен ориентироваться Александр: «Не довольно дать России хороших губернаторов – надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе.

Дворянство и духовенство, Сенат и Синод, как хранилище законов, – над всеми государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено, или ослаблено правилами царствующих» [1, с. 109].

Характерно при этом, что Карамзин как последовательный консерватор не берет на себя смелость судить о правильности или неправильности российского государственного устройства. Отбросив любые внешние критерии, он

<sup>1</sup> То же в форме краткого афоризма: «не формы, а люди важны» [1, с. 98].

апеллирует единственно к национальной традиции, которая может кому-то казаться «неправильной», но на самом деле является единственным основанием для оценки как настоящего положения дел, так и любых реформаторских проектов. И с аутентично консервативной иронией добавляет: «Я совсем не меланхолик, и не думаю подобно тем, которые, видя слабость правительства, ждут скоро разрушения, – нет! Государства живущи и в особенности Россия, движимая самодержавной властью! Если не придут к нам беды извне, то еще смело можем и долгое время заблуждаться в нашей внутренней государственной системе!» [1, с. 97].

### 3

Если Записка Карамзина совершенно точно была прочитана Александром, то в отношении текста Жозефа де Местра такой уверенности нет. Однако велика вероятность этого, поскольку де Местр писал свои четыре главы по прямой просьбе министра народного просвещения графа А.К. Разумовского, и в самом тексте не раз встречаются обороты, адресованные непосредственно Александру. В частности, завершая Заключение к главам, де Местр так оправдывает себя в роли неформального советника государя: «Все его помыслы заняты безопасностью, благоденствием и славой Его Императорского Величества. Каждая строка продиктована самой горячей привязанностью к его столь любезной и августейшей персоне» [4, с. 114].

В сравнении с Запиской Карамзина сразу заметно жанровое отличие деместровского текста. Диагностируя состояние России и предлагая средства для ее сохранения, автор четко определяет источник всех опасностей и угроз – век Просвещения, XVIII век. Особую специфичность тексту де Местра придает еще и то обстоятельство, что, будучи воинствующим католиком, он постоянно указывает на первоначальный исток просвещенческой «заразы» – Реформацию XVI века, породившую протестантизм. Поэтому открытая и яростная борьба с Просвещением и протестантизмом как мировоззренческими врагами России составляет одновременно и контекст, и нерв его четырех глав.

Это заметно уже в первой главе «О свободе», трактующей важнейший для Александра вопрос об отмене крепостного права, который, как мы убедились раньше, являлся фундаментальным по отношению ко всей государственно-политической реформе. Прежде чем говорить о «рабстве» (крепостничестве) в России, де Местр излагает общую теорию государственной стабильности, исходя из постулата о том, что «человек, если его предоставить самому себе, слишком зол, чтобы быть свободным» [4, с. 27]. Не удивительно поэтому, констатирует де Местр, что во всех человеческих обществах – независимо от формы правления – рабство признавалось вполне законным и даже естественным институтом. И только с появлением христианства началось постепенное освобождение человечества от этого института, поскольку эта религия дает человеку контроль над своей свободой. Поэтому де Местр заключает, что «род человеческий в его целом способен воспринимать гражданскую свободу только в той мере, в какой его пронизывает и направляет христианство» [4, с. 31].

Выделив два основных фактора, укрощающих «зло» человеческой свободы и обеспечивающих общественный порядок, де Местр проецирует их на Россию и утверждает: «*Рабство существует в России потому, что оно необходимо, и потому, что император не может править без рабства*» [4, с. 33]. И подкрепляет этот жесткий тезис разными по степени своей рискованности аргументами.

Во-первых, де Местр указывает на то обстоятельство, что задача управления большей частью подданных империи фактически решается не государственной властью, а персонально каждым помещиком – владельцем «кре-

постных душ». Расчет на управление с помощью общеимперских законов он отвергает категорически, утверждая, что «никаким народом нельзя управлять с помощью одних законов – такого никогда не было и никогда не будет» [4, с. 35]. Поэтому в интересах сохранения порядка и управляемости в столь большой империи следует как можно дольше сохранять такое положение вещей, при котором «каждый дворянин являет собой подлинного судью, своего рода гражданского правителя, который на своих землях имеет своих же охранителей общественного порядка и который облачен всей необходимой властью для того, чтобы в основном подавить необузданный порыв отдельных проявлений злой воли» [4, с. 34].

Уже здесь де Местр вступает на территорию риска, приглашая Александра I смириться с мыслью о том, что фактически его власти совершенно недостаточно для управления империей и что без полновластного (в пределах своих имений) дворянства империя просто развалится. Однако следующий аргумент еще более рискован, поскольку ставит под сомнение оправданность того религиозного выбора, который был сделан первыми русскими князьями в пользу византийского православия, а не римского католичества. Он заходит так далеко, что фактически ставит под вопрос само определение России как действительно христианской страны. Вот его тезис, за воспроизведение которого в знаменитом первом «Философическом письме» П.Я. Чаадаев был диагностирован Николаем I как сумасшедший: «Христианство – не слово, а дело, и если в нем нет силы, если оно не обладает всепроникающим влиянием, если в нем нет древней простоты и *властных служителей* [курсив мой – Л.П.], тогда оно перестает быть христианством, перестает быть тем, чем оно было в ту пору, когда даровало всеобщее освобождение. Пусть правительство не обольщается – его духовенство не имеет даже права голоса в государстве, оно не дерзает возвысить свой голос; и здесь мы говорим только самое малое: иностранец вовсе не говорит, что это плохо, он просто говорит, что *это так*» [4, с. 37].

При всех этих оговорках, необходимых для соблюдения максимального политеса иностранным посланником, де Местр все же вполне однозначно указывает Александру на острый дефицит такого управленческого ресурса, как религия. А это означает, что российский случай выпадает из общего правила, согласно которому *«любое верховное правление только в том случае обладает достаточной силой для водительства несколькими миллионами человек, если его поддерживает религия или рабство, или же то и другое вместе»* [4, с. 37]. Соответственно, де Местр адресует к государю с таким риторическим вопросом: «Разве истинный друг Его Императорского Величества не найдет случая сообщить ему, что слава и благоденствие империи заключаются не столько в освобождении крепостной части народа, сколько в совершенствовании тех, кто свободен и, прежде всего, благороден?» [4, с. 43].

Отсутствие эффективного религиозного контроля над российским населением вообще (а не только над крепостными) несет в себе прямую угрозу государственного краха еще и потому, что «российская цивилизация по времени совпала с эпохой максимального развращения человеческого духа» [4, с. 40]. В русский XVIII век проникла «ужасная литература», и общество, воспитанное на ней, абсолютно незащитно от вируса саморазрушения. И бывшие крепостные, оказавшись вне сферы управления дворян и лишённые эффективной религиозной опеки, «неминуемым образом резко перейдут от суеверия к атеизму и от бездейственного послушания к безудержной деятельности» [4, с. 42].

И чтобы у Александра не оставалось сомнений на счет того, к какой именно «деятельности» перейдут несвоевременно освобожденные крепостные, де Местр вызывает из недалекого прошлого весьма символическую фигуру: «Вполне может получиться так, что при таком всеобщем умонастроении поя-

вится какой-нибудь новый Пугачёв с университетским образованием (что легко может произойти, потому что производство таковых налажено), присовокупим сюда равнодушие, беспомощность и тщеславие некоторых дворян, иноземное злодейство, козни той отвратительной секты, которая никогда не дремлет [об этой секте разговор впереди – Л.П.], прочие всевозможные обстоятельства, и тогда государство, сообразно всем законам вероятности, *рухнет* в прямом смысле этого слова...» [4, с. 42].

Можно предположить, что именно этот аргумент в итоге в наиболее сильной степени подействовал на Александра I, который так и не решился на то, на что все-таки вынужден был решиться Александр II. Крепостные еще полвека оставались негражданами, но и в отношении замещающей, так сказать, программы совершенствования свободных и благородных у де Местра было о чем предостеречь императора. И об этом вторая глава его Записки, имеющая заголовок «О науке». Эта, казалось бы, совершенно отвлеченная тема, на деле привязана к одной из составных частей реформы Сперанского, а именно – к попытке создать в России образованную бюрократию посредством введения экзаменов на чин.

В этом, казалось бы, вполне естественном и государственно необходимым деле де Местр усматривает столь же серьезную угрозу самому бытию России, как и в проекте отмены крепостного права. В аргументации сардинского посланника образ Пугачева «с университетским образованием» начинает массово тиражироваться, что должно неизбежно привести страну к революции. Поэтому имеет смысл проследить за тем, как именно он подводит Александра к этому апокалиптическому выводу.

Основной тезис, выдвигаемый де Местром против идеи совершенствования «благородных» с помощью экзаменов по разным наукам, заключается в том, что по своей природе наука вселяет в человека «непомерную гордыню, опьяняет самим собой и своими идеями, превращает во врага всякой иерархии, в человека, бросающего вызов всякому закону и установлению, наконец, в приверженца всяческих новшеств» [4, с. 48]. К этому добавляется еще и «самый главный недостаток», состоящий в том, что наука (то есть собственно естествознание) «уничтожает самую первую из всех наук, а именно науку управления государством» [4, с. 48]. Причем уничтожает в том смысле, что «посвящает на благородство, смущающее ее, и всюду старается его низвергнуть, потому что именно благородство правит, но править хочется ей самой» [4, с. 52].

Вот этот конфликт образования и социального статуса, «учености» и «дворянства», который порождает наука, и должен, по мысли де Местра, вызывать постоянную озабоченность «государственных людей этой страны». Он не занимает позицию абсолютного обскуранта, предлагающего закрыть школы, университеты и вообще – «собрать все книги бы да сжечь». Напротив, он с похвалой отзывается о Генрихе IV и Людовике XIV, которые «покровительствовали всем наукам, что, конечно же, надо делать, ибо наука – одно из великих украшений общества» [4, с. 53]. Но не забудем – посланник размышляет о науке именно в России, специфика которой состоит в том, что она, в отличие от Европы (которая привыкала к науке многими веками), от негативного воздействия науки ничем не защищена.

А угроза вполне реальна, даже до такой степени, что де Местр позволяет себе очередное пророчество, явно обыгрывая личную биографию Сперанского, утверждая, что «наука постоянно создает угрозу для государства, непрестанно стремясь использовать людей без звания, имени и состояния, ибо, поскольку она является доступной для всех, низы, преисполнившись гордости, всегда стремятся для своего возвышения воспользоваться этой возможностью, и вот этого как раз и надо бояться, ибо, если *одна лишь наука*, без связи с дворян-

ством и богатствами, обусловленными территориально, слишком громко начинает заявлять о себе в сферах управления, *революция* [курсив мой – Л.П.] представляется неизбежной» [4, с. 55].

В целом де Местр не готов отвечать на вопрос, подходит ли Россия для науки, хотя воспоминание о величии Римской империи, вполне обходившейся без собственных науки, философии и искусства, на страницах этой Записки не может быть простой случайностью. Вместо этого он дает совет: нужно подождать, и «наука придет сама, когда для этого наступит время, и придет совершенно неожиданным образом» [4, с. 61]. Сколько ждать и каков этот образ – гадать не стоит. Главное здесь и сейчас найти способы для нейтрализации того зла, которое несет с собой несвоевременное распространение науки, о чем де Местр детально расскажет в заключительной части Записки.

В главе третьей «О религии» он выявляет еще одну угрозу будущему Российской Империи – усиливающееся влияние протестантизма. Это связано с тем, что в составе страны оказалось несколько территорий, населенных протестантами, а также и со странной, с точки зрения сардинского посланника, толерантностью православного духовенства по отношению к проповеднической деятельности протестантских миссионеров. Протестантизм стал распространяться в высших кругах российского общества, и это представляет собой крайнюю опасность для государства. И де Местр напоминает Александру: «В разрушительном духе XVI века берут начало все антиобщественные и антихристианские системы, появившиеся в наши дни: кальвинизм, янсенизм, лжефилософия, просвещение и так далее. Все это восходит к одному и должно рассматриваться как одна секта, которая поклялась уничтожить христианство и низвергнуть всех христианских правителей» [4, с. 64].

Главная опасность протестантизма очевидна уже из его названия – он представляет собой протест против многовековых церковных и государственных порядков, несет в себе дух противоречия, оспаривания общепринятых норм и догм. Он напрямую связан с распространением науки, и де Местр поэтому предупреждает: «Повсюду наука убивала религию; мы это видели в протестантских странах, но увидим и в России, если все оставим как есть» [4, с. 74–75]. Критический настрой, составляющий неперемное условие научного знания, переносится протестантизмом в область веры, а затем распространяется и на государственные устои: «Любое расхожее и всеобщее обсуждение религиозных догматов влечет за собой такое же обсуждение политических положений» [4, с. 70]. А если этот тезис верен, то, заключает де Местр, «протестантизм скрывает в самом себе зародыш мятежа, который не замедлит развиться при всяком удобном случае» [4, с. 71].

Разумеется, во всех этих и подобных антипротестантских инвективах просматривается вполне понятный конфессиональный интерес самого де Местра как ревностного католика ультрамонтанского толка. В конечном счете именно из-за того, что он свою непосредственную миссию посланника сардинского короля фактически подменил миссией посланника Папы Римского, он и был выслан из России в 1817 году. В своих четырех главах, обращенных непосредственно к Александру I, де Местр крайне осторожен в отношении конкретных правительственных мер и инициатив, предпочитая придавать своей критике общетеоретический (исторический и философский) характер. Но в «Санкт-Петербургских вечерах» он позволяет себе более прямой тон в отношении, например, одной из важных затей Александра – создания Библейского общества в январе 1813 года.

В «Беседе одиннадцатой» этой книги, построенной как диалог российского Сенатора, французского Кавалера на русской службе и Графа, то есть самого де Местра, последний прямо заявляет: «Библейское общество есть создание

протестантское, и как таковое должно быть осуждено вами [то есть русскими – Л.П.] точно так же, как и мною» [5, с. 580]. И добавляет самый последний и самый решающий аргумент: «Против Библейского общества нашлось бы еще много возражений, и самое убедительное из них вы же, г-н сенатор, и представили: *в делах, касающихся обращения в христианство, то, что не нравится Риму, ничего не стоит*» [5, с. 581].

Этот усиленный антипротестантский акцент третьей главы Записки де Местра призван склонить императора к восприятию католической церкви чуть ли не как единственного союзника и самой надежной опоры в противостоянии злу безверия и монархоборчества. В отличие от протестантизма, который «пронизан беспокойным республиканским духом» [4, с. 63], у католической церкви сами «ее догматы в политическом отношении вполне консервативны, и всюду, где она каким-то образом будет удерживать народ, он никогда не придет в ярость» [4, с. 76]. На предположительное сомнение читателя в отношении верности этого тезиса с учетом опыта Французской революции де Местр готов ответить в следующей и последней главе Записки «О Просвещении».

Да, действительно антицерковная и антимонархическая революция произошла именно в той стране, которая во всей Европе считалась незыблемым оплотом монархизма и католицизма. Этот парадокс де Местр попытался объяснить еще в 1797 году в своих «Рассуждениях о Франции», утверждая, что это была вполне заслуженная кара Провидения. Именно Франция в XVIII веке восприняла и максимально развила тот «дух Просвещения», который в итоге и подорвал все основания традиционного европейского порядка. Возмездие настигло Францию заслуженно: «Именно Франция была во главе религиозной системы, и не без основания Король Французов назывался *христианнейшим* <...> Однако, поскольку Франция использовала свое влияние, чтобы воспротивиться своему предназначению и развратить Европу, не следует удивляться тому, что ее возвращают к этому предназначению ужасными способами» [6, с. 19].

Разумеется, по отношению к России в 1811 году у де Местра не было оснований рассуждать в подобном ключе – 1815 год и Священный Союз были еще впереди. Но поскольку де Местр неоднократно пугает Александра I призраком российского издания Французской революции, ему показалось правильным указать на основной исток этой угрозы – а именно на то, что в общеевропейском и российском обиходе получило обобщенное название «Просвещение». Сардинский посланник разъясняет российскому императору, что под этим брендом скрывается весьма разнообразная когорта «просветителей», часто смешиваемых с так называемыми иллюминатами Адама Вейсхаупта. Среди них есть, во-первых, франкмасоны, во-вторых, мартинисты и пиетисты, и хотя они все время должны оставаться в статусе «подозреваемых», все же «Его Императорскому Величеству в политическом отношении, наверное, не следует слишком опасаться этих людей» [4, с. 85].

А вот кого действительно нужно всерьез опасаться, так это так называемой третьей категории *просвещенных*, о которой де Местр говорит без упоминания имен (за исключением «общества Бавьера»), но опять сводя все к изобличенному ранее протестантизму: «Настоящее просвещение – это современная лжефилософия, отпочковавшаяся от протестантизма, а точнее – от кальвинизма, ибо можно сказать, что кальвинизм вобрал в себя и уподобил себе все прочие секты» [4, с. 86]. Де Местр не имеет доказательств того, что «настоящее Просвещение» – это реальная тайная организация, планирующая и осуществляющая подрывные акции по всей Европе. Но для него «не так уж важно, в каком виде она существует». Свою разрушительную работу это «некое широкое дьявольское единство систем, взглядов и средств» уже проделало в Европе,

и российский император, вероятно, должен страшиться не столько Наполеона, сколько этого тайного невидимого врага.

«В своем наступлении эта организация как будто остановилась на подступах к России. Почему? – спрашивает де Местр. – Потому что народ, а лучше сказать огромная глыба нации просто не готова воспринять ее нашествие, но если правительство предоставит протестантам свободу действий и начнет покровительствовать протестантскому учению, в России случится то, что уже случилось в других странах» [4, с. 89]. Этот довольно рискованный тезис, возлагающий ответственность за возможную революционную катастрофу на российских правителей, он усугубляет еще и таким напоминанием: «Самый большой и пагубный талант, которым обладает эта проклятая секта, пользующаяся всеми средствами для достижения своих целей, со времени ее появления заключался в умении использовать самих правителей ради их же уничтожения» [4, с. 93].

В общем, Александр I должен осознать, что «перед нами чудовище, вошедшее в себя всех прочих чудовищ, и если мы его не убьем, оно убьет нас» [4, с. 92].

Из этого последнего замечания можно сделать вывод, что де Местр призывает российского императора к тотальному гонению на протестантов и чуть ли не повторению в России «Варфоломеевской ночи». На самом деле все не так страшно. Суммируя в Заклучении свои «консервативные положения, относящиеся к России», он выдвигает программу контрреформации в узком смысле (в смысле противодействия реформе Сперанского) и одновременно – программу контр-Просвещения в смысле самом широком. Десять пунктов этой единой программы сводятся к нескольким основным положениям.

Во-первых, освобождение крестьян не должно проводиться широко и гласно и не на основе какого-либо закона. Одновременно нужно стремиться уменьшать любые злоупотребления, усиливающие стремление крепостных к освобождению. Но при этом ни в коем случае публично не подавать эту идею как нравственное и политическое благодеяние со стороны дворянства.

Во-вторых, производить в дворянство нужно не по итогам экзаменов, а только при наличии земельных владений и особых заслуг. Богатство (торгово-купеческое) не должно быть основанием для получения дворянства.

В-третьих, не популяризировать «науку» как таковую, ограничивать узким кругом набор знаний, необходимых для каждой профессии, «не допускать никакого общественного обучения» и «никоим образом не поощрять распространение наук в низших слоях народа и даже незаметно препятствовать всякому начинанию такого рода» [4, с. 111].

В-четвертых, комплекс мер, касающихся положения религии в России. Конечно, де Местр настаивает на гармонизации отношений между православием и католичеством, которое «является подлинным союзником государства» [4, с. 112]. Протестантизм держать под строгим контролем, но, как ни удивительно – не мешать не только обращению протестантов в католицизм, но и обратному процессу! Неожиданный жест религиозной толерантности де Местр поясняет следующим образом: «Это их дело, и как только государство предоставит тем и другим свободу действий, сказать будет нечего» [4, с. 112].

Наконец, в-пятых, де Местр призывает государя проводить жесткую политику в области подбора и назначения учителей и воспитателей в российские школы, училища и университеты, смысл которой прост: русскому юношеству – русских наставников. Если же все-таки потребуются иностранцы, то предпочитать, разумеется, католиков, а не протестантов. И главное помнить, что из каждых ста приглашаемых на «ниву» российского образования иностранцев, «по меньшей мере в девяносто девяти случаях государство совершает для себя пагубное приобретение, потому что всякий, у кого есть семья,

собственность, устоявшийся склад характера и определенная репутация, не поедет в чужую страну, а останется у себя дома» [4, с. 113]. Позже, в «Санкт-Петербургских вечерах» он сформулирует этот тезис в виде такого афоризма: «Лучше вовсе не иметь университетов, чем переполнить их иностранцами!» [5, с. 608].

#### 4

Сопоставляя Записку Карамзина и главы о России де Местра, можно сделать самый общий вывод о том, что оба текста представляют собой *консервативную* реакцию на предельно радикальную попытку тотальной реформы, представлявшей собой не что иное как очередное в российской истории издание «революции сверху». И в том, что эта революция была остановлена и свернута, условно говоря, на четверти пути, видится прямая «заслуга» и придворного историографа, и сардинского посланника. Особо нужно подчеркнуть, что ни один из них не затевал интригу против могущественного государственного секретаря, а выступал его принципиальным идейным оппонентом. Здесь не было «ничего личного»: здесь было лобовое столкновение идеологий: либерализма, с одной стороны, консерватизма – с другой. В этой «битве за царя» победу одержал консерватизм, и траектория исторического движения России приняла известное направление.

Но уже из характера аргументации, которую использовали и требовавший «мудрости хранительной» Карамзин, и развивавший свои «консервативные положения» де Местр, мы могли заметить определенные различия между их консерватизмом. Лучше всего их можно описать с помощью той классификации типов консерватизма, которую в свое время разработал С. Хантингтон, определяя эту идеологию как институциональную и позиционную [11, с. 233, 238]. Оба мыслителя защищают традиционные институты России, такие как самодержавие, дворянско-крепостнический строй и православную церковь. Но делают это с разных позиций.

Для Карамзина главный аргумент против реформ Сперанского – российская история, подсказывающая неумолимую логику принятия неограниченного самодержавия как «палладиума России». Его консерватизм спозиционирован во внутрироссийском (хотя и расширенном в тысячелетие) контексте. И его непреклонный монархизм связан не столько с неким групповым (классовым) интересом, сколько с подчинением «воле» отечественной истории как российской «судьбы». Карамзин – консерватор, так сказать, «не от рождения», а по убеждению, которое выработалось у него в зрелые годы, но не зачеркнуло тех идеалов, которые он питал в годы путешествия по Европе и ярко представленных в «Письмах русского путешественника».

И хотя даже тогда молодой Карамзин, побывав на заседаниях английского парламента, отметил «славного Борка» [2, с. 464], он много лет спустя в письме к П.А. Вяземскому от 18 августа 1818 года честно признавался: «Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную, и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правление было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае <...> Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец, и таким умру» [3, с. 204]. Указавший на сходство подобной позиции с той, которой придерживался еще В. Татищев, Ричард Пайс при этом однозначно и вполне обоснованно охарактеризовал Записку Карамзина как «классический манифест русского консерватизма» [9, с. 122].



Де Местр в молодости тоже не был чужд либеральных увлечений и симпатий к конституционализму и даже стал в 1788 году сенатором герцогства Савойского. Однако после Французской революции он превратился в радикального и беспощадного оппонента «века Просвещения», выработав мировоззрение, которое некоторые исследователи не решаются определять как консерватизм. В частности, такой блистательный знаток наследия де Местра, как Исайя Берлин, не соглашаясь признавать его консерватором в одном ряду с де Бональдом, предложил смотреть на него сквозь призму тоталитарной трагедии XX века. Приводя знаменитый отрывок из «Санкт-Петербургских вечеров», в котором де Местр сравнивает землю с алтарем, на котором ежеминутно приносятся кровавые жертвы, И. Берлин резюмирует: «Это не квиетизм и не консерватизм, не слепая вера в *status quo*, не обскурантизм духовенства. Что-то сближает его с параноидальным миром современного фашизма, и поразительно, что мы имеем дело с самым началом XIX века» [8, с. 230].

Отказ И. Берлина зачислять де Местра в консерваторы, рядоположные Бёрку и де Бональду, и сближение с «фашизмом» смотрятся как парадоксальная гипотеза, намекающая на «что-то», но не раскрывающая смысл этого намека до конца. Не совсем понятно, о каком «фашизме» говорит И. Берлин – об аутентичной доктрине Б. Муссолини или о фашизме «вообще», включающем и гитлеровский национал-социализм, и фалангизм Франко, и все авторитарные режимы Европы. Ссылка на фашизм как «кульминацию мощного антиреволюционного движения» [8, с. 236] мало что разъясняет.

Но даже если де Местра действительно нужно отличать от Бёрка и де Бональда по крайней мере стилистически, то в отношении его идеологической позиции в главах о России сомнений быть не может – она последовательно и аргументированно консервативная. И дело не только в том, что так ее именует сам де Местр. Существенно то, что он проецирует сначала французскую, а потому и общеевропейскую революционную ситуацию на Россию, усматривая здесь те же самые вызовы, которые не были своевременно опознаны и адекватно встречены охранителями европейского «старого порядка».

Разумеется, полной аналогии между Европой и Россией нет, и это де Местр подчеркивает не раз. Но – тем хуже для России! Если уж привычная к науке Европа с ее многовековой традицией университетов не смогла устоять под ударами просвещенческого рационализма и атеизма, то что же говорить о России, в которой наука еще практически в «детском» возрасте. И если даже в Европе, воспитанной католической церковью и обладающей мощной церковной иерархией, протестантизм сумел разрушить основы традиционного мировоззрения и заразить массы вирусом революции, то куда легче ему это удастся сделать в стране с малоавторитетным и мироотрешенным духовенством.

И если уж действительно ставить вопрос предельно радикально: консерватор ли де Местр, если парадигматичным автором является Эдмунд Бёрк, отстаивавший достоинства английской «конституции» в противовес конституционным проектам французских революционеров и их британских симпатизантов (таких, например, как Томас Пейн и Джозеф Пристли), то в ответ можно привести такой аргумент. В наброске заключительной беседы «Санкт-Петербургских вечеров» де Местр прямо обличает характерную для русских страсть к новизне, «которая образует, быть может, самую яркую черту вашего характера» [5, с. 606]. И приводит такой пример для подражания: «Но взгляните на другие народы, населяющие земной шар, – их привела к славе система прямо противоположная! Упрямый британец тому доказательство <...> Хотите ли и вы, чтобы величие ваше сравнялось с вашей мощью? – так следуйте же подобным образцам; во всем, даже в мелочах, противодействуйте духу новшеств и перемен» [5, с. 606–607].

В дальнейшем такие классики русского консерватизма, как К.Н. Леонтьев, К.Н. Победоносцев, Л.А. Тихомиров и В.В. Розанов, неустанно пытались следовать этому завету. Но, зная последующую судьбу России, приходится выбирать из двух предположений: то ли не так этому завету следовали, то ли сам завет был неверен. Иного не дано?

## Литература

1. *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.
2. *Карамзин Н.* Письма русского путешественника. М.: Советская Россия, 1983.
3. *Карамзин Н.М.* Избранные статьи и письма. М.: Современник, 1982.
4. *Местр, Жозеф де.* Четыре неизданные главы о России. Письма русскому дворянину об испанской инквизиции. СПб.: Владимир Даль, 2007.
5. *Местр, Жозеф де.* Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998.
6. *Местр, Жозеф де.* Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997.
7. *Сперанский М.М.* Руководство к познанию законов. СПб.: Наука, 2002.
8. *Берлин, Исайя.* Жозеф де Местр и истоки фашизма // *Философия свободы.* Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
9. *Пайпс, Ричард.* Русский консерватизм и его критики. М.: Новое издательство, 2008.
10. *Томсинов В.А.* Светило русской бюрократии (М.М. Сперанский). М.: Теис, 1997.
11. *Хантингтон С.* Консерватизм как идеология // *Тетради по консерватизму.* 2016. № 1. С. 231–250.
12. *Эйдельман Н.* Последний летописец. М.: Книга, 1983.
13. *Кант И.* Сочинения. Трактаты и статьи (1784–1796). М.: Камі, 1994. Т. I.

*Аннотация.* Статья посвящена сравнительному анализу двух важнейших документов эпохи либеральных реформ первого десятилетия правления императора Александра I – «Записке о древней и новой России» придворного историка Николая Карамзина и «Четырем неизданным главам о России» посланника сардинского короля в России графа Жозефа де Местра. Оба текста появились в 1811 году и были адресованы непосредственно императору. Они содержали радикальную критику тех реформ, которые по указанию Александра проводил его ближайший помощник, государственный секретарь Михаил Сперанский. Карамзин и де Местр не интриговали против Сперанского лично, но представили императору развернутую консервативную аргументацию против таких ключевых идей реформы Сперанского как отмена крепостного права, ограничение самодержавия посредством конституции и просветительство (в научном и религиозном смысле). Хотя сами эти документы были известны лишь небольшому кругу русской элиты и были опубликованы лишь столетия спустя, их можно рассматривать как смыслопорождающие для последующей отечественной консервативной традиции.

*Ключевые слова:* реформа, самодержавие, Просвещение, консерватизм, конституция, крепостное право.

Leonid Polyakov, Ph.D. in Philosophy; Professor, Department of Political Science, Higher School of Economics; Member of the ISEPR Expert's Council. E-mail: leopolen@yandex.ru

**The Origin of Russian Conservatism: Nikolai Karamzin and Josef de Maistre**

*Abstract.* In the article the author gives comparative analysis of the two most important documents in the epoch of liberal reforms in the first decade of the reign of Emperor Alexander I – “Notes on Ancient and Modern Russia” by the court historian Nikolai Karamzin and “Four Unpublished Chapters on Russia” count Josef de Maistre, special envoy of King of Sardinia in Russia. Both texts appeared in 1811 and were addressed to the Emperor himself. They contained radical criticism of the whole specter of the reforms implemented by the order of Alexander by his closest aide – State Secretary Mikhail Speransky. Both authors were not plotting against Speransky, but rather had provided Emperor with comprehensive conservative arguments against the key ideas of Speranski’s reforms – such as abolition of serfdom, constitutional limitation of absolute monarchy and broad program of enlightenment in the spheres of higher education, sciences and religion. In spite of the fact that both documents had rather limited circulation among the top circle of Russian elite of the time and were published only half a century later, they could be viewed as truly seminal for further national conservative trend.

*Keywords:* Reform, Absolute Monarchy, Enlightenment, Conservatism, Constitution, Serfdom.

*Н.Н. Лупарева  
История России как консервативный проект:  
Н.М. Карамзин и С.Н. Глинка*

*А.О. Мещерякова  
Грани консервативного патриотизма:  
Н.М. Карамзин и Ф.В. Ростопчин*

*А.А. Тесля  
«Русский народ» и «Российское государство»:  
Н.А. Полевой vs Н.М. Карамзин*

*Е.С. Холмогоров  
Конституция старого народа.  
Историко-политическая концепция Карамзина*

## **История России как консервативный проект: Н.М. Карамзин и С.Н. Глинка**

В начале XIX века Российская империя столкнулась с беспрецедентными в своей совокупности историческими и цивилизационными вызовами – Французской революцией, наполеоновскими войнами, либеральными реформами Александра I и его молодых друзей. «Французская революция явилась тем поворотным пунктом в русском сознании, который поставил под сомнение сами основы европейской жизни и вызвал вопросы в смысле того, чего же достигли европейские народы в своем развитии», а затем закономерный вопрос о том, стоит ли России заимствовать «катастрофичный» европейский опыт. В данном контексте прозападные либеральные реформы нового царствования ассоциировались с прямой революционностью, казавшейся тем более опасной на фоне грядущей большой войны с Наполеоном. Осмысление этих проблем консолидировало консервативные силы русского общества, а лейтмотивом их рефлексии сделало понятие «народности» как идеи национальной самобытности, раскрываемой, в частности, и через историю» [39, с. 48, 45]. Именно консерваторы – Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) и Сергей Николаевич Глинка (1775/76–1847) – впервые создали труды по русской истории, адресованные широкому кругу читателей.

При несопоставимости масштабов личности и таланта Карамзина и Глинки, в их биографиях и идейном развитии можно обнаружить много схожих черт. Оба были выходцами из семей небогатых провинциальных дворян; оба получили европеизированное образование, основанное на принципах Просвещения, некоторых идеях романтизма и масонства; оба пережили эволюцию взглядов от западничества и чисто платонического республиканизма (ибо ни Карамзин, ни Глинка никогда всерьез не примеряли республиканские одежды на российскую действительность) к патриотизму и апологетике самодержавия. Идейному самоопределению и того, и другого способствовало изучение русской истории, сюжеты которой составляли значительный массив материалов издававшихся ими журналов.

Л.Н. Киселева утверждала, что название журнала С.Н. Глинки «Русский вестник» было «полемически заострено» против «Вестника Европы» Н.М. Карамзина [27, с. 54], но по своему программному содержанию эти издания были весьма похожи: полемизировали с идеями европейских просветителей, осуждали Французскую революцию, критиковали галломанию русского образованного общества, утверждали необходимость отечественного воспитания и ценность национальной традиции, сформированной историческим развитием

*Лупарева Надежда Николаевна*, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж). E-mail: nadezhda.lupareva@yandex.ru

русского народа и государственности. Однако Карамзин вступил на этот путь почти на десятилетие раньше, чем Глинка.

Уже в «Письмах русского путешественника» (1791–1792) Карамзин сетовал на отсутствие «хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием» [25, с. 66]. Издавая «Вестник Европы» в 1802 году, он обобщал уроки Французской революции, акцентируя внимание на историческом опыте общественно-политического развития как гаранте государственной стабильности: «мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих... что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума» [26, с. 181]. В статье «О любви к Отечеству и народной гордости», также опубликованной на страницах журнала в 1802 году, он выступил с яркой патриотической манифестацией: «Я не смею думать, чтобы у нас в России было немного патриотов; но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, чтобы любовь к Отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен, по крайней мере, знать цену свою... Мы не имеем нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше происхождение: слава была колыбелью народа русского, а победа вестницей бытия его» [24, с. 197–198]. В другой статье «Вестника» Карамзин говорил о необходимости изучения отечественной истории в целях системного понимания событий современности [34, с. 90]. В 1803 году он обратился в Министерство народного просвещения с просьбой об официальном назначении его историографом, которая вскоре была удовлетворена особым указом, и Карамзин, по словам П.А. Вяземского, «постригся в историки».

В 1803–1811 годах были написаны первые пять томов «Истории государства Российского». Работа Карамзина была приостановлена Отечественной войной и возобновлена с возвращением историографа в Москву в 1813 году. В 1818 году вышли в свет первые восемь томов «Истории», напечатанные без цензуры. В 1821 году был опубликован девятый том, в 1824-м – десятый и одиннадцатый. Двенадцатый том опубликован посмертно, в 1829 году [33, с. 225].

Согласно воспоминаниям П.А. Вяземского, Карамзин планировал довести повествование до воцарения династии Романовых, а затем дать сжатый, но полный очерк новейшей истории до александровского царствования [7, с. 203]. Однако смерть прервала труд историографа на событиях междуцарствия 1611–1612 годов. Поэтому для осмысления историософии Н.М. Карамзина представляется целесообразным привлечение «Записки о древней и новой России», написанной лично для императора Александра I и содержащей консервативную критику его реформ, обоснованную обширным, кратко, но емко изложенным историческим материалом [32, с. 188–190].

В предисловии к «Истории» Карамзин оговаривает ее дидактическое назначение: «История в некотором смысле есть священная книга народов... завет предков к потомству... Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей». Главная мысль, которую должны постичь читатели его сочинения – та, что «самодержавие есть палладиум России» [23, с. 323]. Уникальность российской истории заключается в том, что «Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление и требуют Государей от Варягов... Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили Самовластие... в России оно утвердилось с общего согласия граждан... и рассеянные племена Славянские основали Государство» [21]. Таким образом, Карамзин обосновывал мысль об отсутствии в социальном строе России каких бы то ни было зачатков будущих общественных или политических

конфликтов, в отличие от стран Европы [см.: 39, с. 64]. Кроме того, на основании приведенного отрывка можно если не усомниться в позиционировании Карамзина как классического норманиста, то отметить, что он не стремился унизить достоинство русского народа у самых истоков его истории. Напротив, он подчеркнул высокий уровень политического и правового сознания восточнославянских племен, самостоятельно пришедших к мысли о благодетельности единой государственной власти.

Согласно Карамзину, «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием» [23, с. 240]. Самодержавие стало результатом длительного исторического развития русского государства и «достохвальных усилий Князей Московских, от Калиты до Василия Темного» [22, с. 656]. Однако «первым, истинным Самодержцем России» стал Иван III [22, с. 658], государь, которого Карамзин выделяет как самого выдающегося в отечественной истории. А также как героя всемирной истории, появившегося на политической арене «в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом Государей возникала в целой Европе на развалинах системы феодальной, или поместной» [22, с. 654]. Именно с правления Ивана III «История наша приемлет достоинство истинно государственной» [22, с. 424]. Именно Иван III, «наблюдая во всем достоинство Монарха», старался приучить своих подданных к «благоговению пред его священным саном», «умножал внутреннюю силу России строгим действием Самодержавной власти» [22, с. 478]. Именно Иван III являл пример умного и мудрого государя, не пресекавшего границ своих полномочий. Так, борьбу с губительной для государства удельной системой Иван III проводит без «явного нарушения торжественных условий, без насилия дерзкого и опасного, верно и прочно: одним словом с наблюдением всей свойственной ему осторожности» [22, с. 488].

Таким образом, согласно Карамзину, самодержавный монарх «в высшей степени связан нравственными требованиями... поскольку эти требования превратились в течение веков в прочные и глубоко укорененные традиции. Для Карамзина именно эти традиции, а не формальные правовые установления и внешнее государственное устройство – подлинная гарантия того, что в государстве будут преобладать право, справедливость, добро и что подданные будут счастливы. Если монарх царствует добродетельно в согласии с этими традициями, то он остается на правильном нравственном пути, на пути справедливости и не только сам он, он и наследника своего вынуждает идти по тому же пути [см.: 31, с. 100]. Соответственно, самодержавие для Карамзина означает «не столько неограниченность, сколько неделимость власти», и существуют сферы общественной жизни, на которые самодержавная власть не может распространяться. Такой сферой, помимо нравов и обычаев народа, является сфера церковной жизни [28, с. 180]. Само же православие являлось своего рода «совестью» самодержавной системы, задающей нравственные координаты для монарха и народа, как в стабильные времена, так и особенно в эпохи потрясений [35, с. 28].

Интересно, что в этом контексте Карамзин проводит параллель между Иваном III и Петром I в связи с масштабным характером их государственных преобразований: «оба без сомнения велики; но Иоанн, включив Россию в общую государственную систему Европы и ревностно заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного характера подданных».

В «Истории», прервавшейся на начале XVII столетия, Карамзину не удалось раскрыть ужасную, с его точки зрения, ошибку петровских реформ, однако в «Записке о древней и новой России» он обвинил считавшегося до того времени национальной иконой императора в том, что страсть к нововведениям

«преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств... Искореня древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце», фактически уничтожая способность народа к великим делам [23, с. 250], коими так богата допетровская история Руси. Ведь именно народ, осознав пользу и выгоду самодержавия [23, с. 240], сохранял верность этой системе власти даже в страшнейший период опричнины [23, с. 242]. А в 1612 году, проявив «удивительное единодушие», «Веру, любовь к своим обычаям и ненависть к чужеземной власти», освободил Москву от польских интервентов и прекратил Смуту возведением на престол династии Романовых [23, с. 246–247].

Ю.М. Лотман отмечал некоторую ограниченность названия исторического труда Карамзина: начиная писать его как историю российского государства, автор по мере углубления знаний об отечественном прошлом явно усилил акцент на роли народа в исторической судьбе России [30, с. 577, 583–584]. Лотман указывал даже на нежелание Карамзина «писать о периоде, когда государство достигает больших успехов и действительно становится в центр исторической жизни – о периоде Петра I» [30, с. 584].

Самодержавие интерпретировалось Карамзиным как «умная политическая система», которая зависела не только от личных свойств, ума, воли отдельных правителей, но и от сложного взаимодействия национальных традиций в сфере государственных и общественных отношений [34, с. 333]. Изменение хотя бы одного из этих элементов неизбежно влекло за собой ослабление всей системы, тем более недопустимо было изменение сути самодержавия самими русскими монархами. Так, европеизация и секуляризация общественной жизни при Петре I привели к опасному социо-культурному разрыву между высшими и низшими сословиями, «и русский земледелец, мещанин, купец увидели немцев в русских дворянах» [23, с. 251]. А еще они привели к ослаблению положения духовенства, которое из наставников и нравственных судей превратилось в «угодников царей» [23, с. 254]. Итогом правления Петра стала эпоха дворцовых переворотов, когда аристократия и олигархия «губили отечество» [23, с. 255–256]. В конце «Записки» Карамзин критиковал реформы Александра I и говорил о неправомерности ограничения самодержавия.

Интересно, что «Русская история» С.Н. Глинки увидела свет на год раньше сочинения Карамзина. Впервые она была частично опубликована на страницах «Русского вестника» в 1817 и 1818 годах [29, с. 401–406]. Помимо этой публикации книга выдержала три издания: в 1817–1818 и 1818–1819 годах под названием «Русская история в пользу воспитания» в восьми частях; в 1823–1825-м под названием «Русская история, сочиненная Сергеем Глинкой» в четырнадцати частях.

В «Записках» С.Н. Глинки содержится рассказ о том, почему первое издание его истории в названии получило пояснение «в пользу воспитания». Объявления о выходе книг тогда помещались в «Московских ведомостях» при наличии подписи полицейского начальства. Последнее отказалось подписать историю Глинки в связи с тем, что по высочайшему распоряжению российскую историю в это же время писал Н.М. Карамзин. Глинка, «не пускаясь в рассуждения», «взял перо и написал: “В пользу воспитания”», благодаря чему и получил необходимую подпись [8, с. 356]. То есть его труд изначально не был предназначен только для юношества, он был адресован широкой читательской аудитории.

Тем не менее назидательный характер его работы очевиден. Характеризуя содержание своей книги, Глинка писал: «Наблюдая отечественные происшествия, я старался показывать, от чего возвышались души, от чего ослабевала нравственность; наконец, от чего потрясилось основание Веры



и законов» [9, с. XVIII]. Эта информация, с его точки зрения, должна была стать частью коллективной памяти народа и давать примеры поведения в той или иной общественно-политической ситуации: «Если не будем обращать к пользе общественной примеров, сохраненных в летописях; тогда *История* будет бесполезной сказкой» [10, с. 140].

Достоверно установить, какими источниками и литературой пользовался Глинка при написании «Русской истории», сложно. Никаких ссылок в своей работе он не делал, объясняя это желанием не надоедать читателю [9, с. XIV]. Т.А. Володина отмечает знакомство Глинки с основным кругом сочинений по истории России – трудами В.Н. Татищева, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, А.-Л. Шлецера [4, с. 148]. Но почерпнутые в источниках и исторических сочинениях факты Глинка «преображал» в соответствии со своим «русским направлением». Так, например, пытаясь опровергнуть норманнскую теорию, он сконструировал довольно стройную концепцию. Глинка утверждал, что руссы были одним из славянских племен, но переселились за Ладожское озеро. Там они соседствовали с варягами и, конечно, подверглись их влиянию, однако варяжских грабительских нравов не переняли. Отсюда и был призван Рюрик. Таким образом оказывалось, что он принадлежал к славянскому корню [9, с. 8–26]. В соответствии со своими патриотическими убеждениями Глинка объяснял и многие другие исторические факты: название «славяне» произошло от славы [9, с. 25–26], а опричники Ивана Грозного были вовсе не русскими, а татарами, и этим объясняется их жестокость [15, с. 112–133].

Как и в случае с «Историей государства Российского», нас интересует прежде всего центральная идея «Русской истории». Коренным началом русского духа Глинка считал монархизм. Уже в IX веке славяне поняли, что «народное правление, возрождающее буйство и своеволие, вредно в земле великой и обильной», и добровольно установили «наследственную власть» [9, с. 64]. Принятие христианства закрепило установившийся политический порядок, связав народ «единодушием» и стремлением к «общей пользе». Все кризисы русской государственности были связаны с тем, что «Вера», «единодушие» и «общая польза» забывались в угоду «своеволию», «разномыслию» и исканию «личной выгоды».

Так было в эпоху феодальной раздробленности и последовавшего за нею монголо-татарского ига [10, 11], правления Ивана IV [12], в период Смуты [16], в эпоху дворцовых переворотов [18]. Но всякий раз политическое чутье русского народа способствовало восстановлению национальной политической системы. В этом смысле апофеозом русской истории для Глинки было начало XVII столетия, когда «самодержавие утвердилось в России верою и единодушным избранием на престол Царя Михаила Феодоровича» [9, с. 64]. Причем, с точки зрения Глинки, избрание нового царя было прямым проявлением божественной воли: «Разврат повсюду свирепствовал... К умилоствлению судеб небесных, учрежден был трехдневный пост. Смирение и кротость успокоили волнение душ и умов. Жители различных городов и всякого звания, собираясь в престольный град, начали помышлять о избрании на престол Михаила Федоровича Романова». Изъявляя свою волю, представители всех сословий от разных русских земель утверждали, что «Бог вразумил» их принять такое решение [17, с. 5]. Таким образом, Глинка акцентировал внимание на том, что русская государственность имела аутентичный, а не привнесенный извне характер, и противопоставлял ее консервативную, патриархальную природу, нашедшую выражение в особом типе политического строя – самодержавии, либеральным политическим ценностям.

Интересно, что Глинка, доведший повествование до 1812 года, не разделял отечественную историю на периоды Московской Руси и Петербургской

России. Царствование Петра I [13, 14], а также Екатерины II [19, 20] он оценивал в контексте продолжения государственных традиций XVII века, создавая образы отца и матери Отечества, приверженных исконно русским национальным началам. Исходя, подобно Карамзину, из представления о значительной роли великих личностей в истории, Глинка отводит эту роль не Ивану III или какому-либо другому государю доимперской эпохи, а Петру I. Образ Петра в «Русской истории» не продолжает традиционный для XVIII века миф о «демиурге» России, но развивает идею «работника на троне», действующего в соответствии с национальными традициями.

Например, «юный Петр своим примером возобновил то воспитание, которое укрепляло тело и душу. Владимир Мономах и другие Русские князья любили труд и укреплялись трудами. Сие воспитание было почти совсем забыто» [17, с. 156]. Или, будучи религиозным, подобно всем русским государям, Петр «по ревности к Богопочитанию» предписал, «чтобы в храмах Божиих соблюдать благоговение, приличное сынам Веры. Соболезнуя о голоде, свирепствовавшем тогда в некоторых областях России, великий сей хозяин благоразумными мерами обуздал корыстолюбцев, забывших Веру и человечество» [14, с. 200–201].

То, что «Русская история» выдержала фактически четыре издания за столь короткий период, говорит о ее популярности среди читающей публики. Книга обладала всеми необходимыми для этого качествами: она была написана легко, интересно и увлекательно; Глинка приоткрыл завесу тайны над эпохой дворцовых переворотов, о которой современники автора имели достаточно смутное представление [5, с. 161–162].

Однако после публикации «Истории» Н.М. Карамзина, которому Глинка уступал и в качестве проработки источников, и в глубине осмысления исторического развития России, и в художественной выразительности изложения, на «Русскую историю» обрушился шквал критики. В результате третье издание «Истории» оказалось нераскупленным. За Глинку вступился сам Н.М. Карамзин, который ходатайствовал перед министром народного просвещения А.С. Шишковым о предоставлении Глинке средств для погашения долга в типографии Московского университета и настаивал, что «Русская история» «по изложению происшествий и по нравственной цели заслуживает быть классической книгой» [6, с. 442; 8, с. 394; 37, с. 399–400]. Фактически это означало признание книги пригодной для различных учебных заведений. Долг в типографию был уплачен, однако статуса классической работа Глинки всё же не получила.

Несмотря на то что «История государства Российского» Н.М. Карамзина заняла место среди классических работ отечественной историографии, а «Русская история» С.Н. Глинки оказалась забытой уже при жизни автора, эти книги, безусловно, стоят в одном ряду. Обе они появились в эпоху, когда, говоря словами П.А. Вяземского, «Россия не была еще отыскана» [6, с. 437], знания подавляющего большинства общества об отечественной истории были скудными. Обе были написаны языком, доступным широкому слою образованного общества, причем не только привилегированным. Значение этого фактора хорошо сформулировал В.Г. Белинский, характеризуя редкую в то время способность Карамзина «говорить с обществом языком общества, а не книги. Бывшие до него историки России не были известны России, потому что прочесть их историю могло только одно испытанное школьное терпение» [3]. Слог Глинки был менее совершенным, чем карамзинский, а склонность к морализаторству и модернизации исторических событий более очевидной, зато именно его сочинениями зачитывался крестьянский сын, маленький Миша Погодин [36, с. 138], который, уже будучи профессором Московского универ-

ситета в 1840-х годах, благодарил Глинку за то, что тот возбудил в нем «первое чувство любви к Отечеству, Русское чувство» [цит. по: 2, с. 34].

Н.М. Карамзин и С.Н. Глинка были одними из первых среди тех, чья деятельность способствовала тому, чтобы, по выражению К.С. Аксакова, «русское дело двинулось вперед» [1]. Исторические сочинения обоих показывали традиционность для России консервативных ценностей, таких как сильная монархическая государственность, значимая роль религии и церкви в общественно-политической жизни, семья как основа всех общественных отношений. «Русская история представляет всегда Россию одним семейством, в котором государь отец, а подданные дети. Отец сохраняет над детьми полную власть, предоставляя им полную свободу. Между отцом и детьми не может быть недоверчивости, измены; судьба, счастье и спокойствие их – общие. Это обо всем государстве, но и в частях его примечается отражение того же закона: военачальник должен быть отцом своих воинов, помещик отцом крестьян, и даже служители в доме всякого хозяина называются на древнем выразительном языке нашем домочадцами. Пока этот союз свят и нерушим, до тех пор спокойствие и счастье, – лишь только, где бы то ни было, он начинает колебаться, как и беспорядок, замешательство, тревога. Вот тайна русской истории, тайна, которой не может постигнуть ни один западный мудрец» [38] – этот пассаж М.П. Погодина в «Историческом похвальном слове Карамзину» безусловно навеян и сочинениями Глинки.

Очевидно, что оба историка оказали решающее влияние на формирование официальной историографии николаевского царствования и создание знаменитой консервативной формулы «Православие. Самодержавие. Народность». А.И. Тургенев под впечатлением от чтения Карамзиным отрывков из своей «Истории» писал к брату: «Не только это будет истинное начало нашей литературы; но и история его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического чувствования» [цит. по: 30, с. 578], – почти дословно определив элементы будущей уваровской триады.

## Литература

1. Аксаков К.С. О Карамзине: Речь, написанная для произнесения пред симбирским дворянством // Карамзин: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006.
2. Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1894. Кн. 8.
3. Белинский В.Г. История государства Российского, сочинение Н.М. Карамзина // Карамзин: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006.
4. Володина Т.А. Русская история С.Н. Глинки и общественные настроения в России начала XIX в. // Вопросы истории. 2002. № 4.
5. Володина Т.А. Сергей Николаевич Глинка // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия. Воронеж, 2005.
6. Вяземский П.А. Сергей Николаевич Глинка // Глинка С.Н. Записки. М., 2004.
7. Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 2003.
8. Глинка С.Н. Записки. М., 2004.
9. Глинка С.Н. Русская история в пользу воспитания. М., 1818. Ч. 1.
10. Глинка С.Н. Русская история в пользу воспитания. М., 1818. Ч. 2.
11. Глинка С.Н. Русская история в пользу воспитания. М., 1818. Ч. 3.
12. Глинка С.Н. Русская история в пользу воспитания. М., 1818. Ч. 4.
13. Глинка С.Н. Русская история в пользу воспитания. М., 1818. Ч. 6.
14. Глинка С.Н. Русская история в пользу воспитания. М., 1819. Ч. 7.
15. Глинка С.Н. Русская история, сочиненная Сергеем Глинкой. М., 1823. Ч. 4.
16. Глинка С.Н. Русская история, сочиненная Сергеем Глинкой. М., 1823. Ч. 5.
17. Глинка С.Н. Русская история, сочиненная Сергеем Глинкой. М., 1818. Ч. 6.
18. Глинка С.Н. Русская история, сочиненная Сергеем Глинкой. М., 1823. Ч. 8.
19. Глинка С.Н. Русская история, сочиненная Сергеем Глинкой. М., 1823. Ч. 9.
20. Глинка С.Н. Русская история, сочиненная Сергеем Глинкой. М., 1823. Ч. 10.
21. Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1988. Ч. 1. Т. 1–4.

22. *Карамзин Н.М.* История государства Российского // *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова. М., 2013.
23. *Карамзин Н.М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова. М., 2013.
24. *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова. М., 2013.
25. *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника // *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова. М., 2013.
26. *Карамзин Н.М.* Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени // *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова. М., 2013.
27. *Киселева Л.Н.* Система взглядов С.Н. Глинки (1807–1812) // Ученые записки Тартуского государственного университета. 1981. Вып. 513.
28. *Китаев В.А.* Николай Михайлович Карамзин // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия / Отв. ред. А.Ю. Минаков. Воронеж, 2005.
29. *Колюпанов Н.* Биография А.И. Кошелева. М., 1889. Т. I. Кн. 2.
30. *Лотман Ю.М.* Колумб русской истории // *Лотман Ю.М.* Карамзин. СПб.: Искусство-СПб., 1997.
31. *Леонтович В.В.* История либерализма в России 1762–1914. М., 1995.
32. *Минаков А.Ю.* Записка о древней и новой России // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия. М., 2010.
33. *Минаков А.Ю.* Карамзин Николай Михайлович // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия. М., 2010.
34. *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм в первой четверти XIX века. Воронеж, 2011.
35. *Минаков А.Ю.* Предисловие // *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова. М., 2013.
36. *Можеева Г.В.* Погодин М.П. // Историки России: Биографии. М., 2001.
37. Письмо Карамзина к Шишкову о Глинке // Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Ч. 2.
38. *Погодин М.П.* Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года, в собрании симбирского дворянства академиком М. Погодиным // Карамзин: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006.
39. Русская социально-политическая мысль XIX – начала XX века: Н.М. Карамзин / Под ред. А.А. Ширинянца. М., 2001.

*Аннотация.* Статья посвящена исследованию идейно-политической платформы исторических сочинений Н.М. Карамзина и С.Н. Глинки. Представленные ими трактовки русской истории определили традиционные русские ценности как консервативные, базирующиеся на монархизме, религиозности, патриархальности общественного устройства, и оказали значимое влияние на консервативную мысль царствования Николая I.

*Ключевые слова:* русский консерватизм первой четверти XIX века, Н.М. Карамзин, С.Н. Глинка, православие, самодержавие, народность.

Nadezhda Lupareva, Ph.D. in History; Lecturer, Humanities and Socio-Economical Science; Air Force Military Educational and Scientific Centre, “N. Zhukovsky and Yu. Gagarin Air Force Academy” (Voronezh). E-mail: nadezhda.lupareva@yandex.ru

#### **The History of Russia As a Conservative Project: N.M. Karamzin and S.N. Glinka**

*Abstract.* The article is devoted to the research of ideological and political basis in the historical works of N.M. Karamzin and S.N. Glinka. Their versions of Russian history determined traditional Russian values as conservative, based on monarchism, religiosity, patriarchal model of society. The historical concepts of Karamzin and Glinka predetermined the conservative ideas of the second quarter of the 19<sup>th</sup> century.

*Keywords:* Russian Conservatism of the First Quarter of the 19<sup>th</sup> Century, N.M. Karamzin, S.N. Glinka, Orthodoxy, Absolute Monarchy, Nationality.

## **Грани консервативного патриотизма: Н.М. Карамзин и Ф.В. Ростопчин**

Граф Федор Васильевич Ростопчин (1765–1826) – государственный и общественно-политический деятель, генерал от инфантерии, руководитель внешней политики России в царствование Павла I, главнокомандующий Москвы 1812 года, консервативный публицист и писатель, современник, друг и единомышленник Н.М. Карамзина. Ростопчина сближала с Карамзиным не только общность консервативных взглядов, политических целей, которым они следовали, но и многочисленные пересечения биографий: будь то семейные связи или примеры взаимовыручки и дружеской поддержки, которые они оказывали друг другу в течение жизни. Примечательно, что в 1812 году, накануне оставления Москвы Наполеону Карамзин на протяжении долгого времени пребывал в доме Ростопчина, совместно с ним переживая трагическое для России время. Между тем безупречность интеллектуальной, идейно-политической репутации Карамзина явно контрастирует с образом Ростопчина, который укоренился в общественном сознании и научной литературе.

В признанном пантеоне героев Отечественной войны 1812 года имя графа Ростопчина, как правило, отсутствует. Более того, в исторической памяти народа и литературе его фигура часто оказывается в компании антигероев русской истории. Во многом это связано с тем образом московского главнокомандующего, который был создан в известном романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Ростопчин у Толстого оказался в оппозиции не только фельдмаршалу М.И. Кутузову, но и в целом русскому народу как носителю подлинного патриотизма. Все мероприятия Ростопчина на идеологическом поприще стали предметом иронии и сарказма писателя, показавшего их исключительно в негативном свете. По всей видимости, именно принадлежность Ростопчина определенному идейному течению стала поводом для его резкой критики не только в отечественной, но и в зарубежной историографии. Подобная ситуация сохраняется вплоть до сегодняшнего времени.

Между тем происхождением, образом жизни, культурными ценностями и пристрастиями, наконец, системой политических взглядов Ростопчин и Карамзин мало чем отличались друг от друга. Оба ровесники, выходцы из незнатных дворянских родов, получили первоначальное домашнее образование, которое затем пополнили в различных учебных заведениях (Ростопчин – в пажеском корпусе, Карамзин – в пансионе И.М. Шадена). Оба начинали свою карьеру со службы в Преображенском полку, однако рано оставили военное поприще. Оба будущих консерватора в молодости путешествовали по Европе, оставив яркие литературные сочинения, созданные по впечатлениям от поездок [36; 15].

И Ростопчин, и Карамзин начинали свои духовные и интеллектуальные поиски с членства в масонских ложах, но быстро разочаровались в масонстве как таковом, по складу ума будучи чуждыми мистицизму. Кроме того, они были родственниками благодаря женитьбе на родных племяннице и тете<sup>1</sup>. Ростопчин в частной переписке даже называл историографа своим «дядюшкой» [26, с. 31]. Помимо родства, Ростопчина и Карамзина объединяли давняя дружба и взаимоуважение. Благодаря своему положению и связям Ростопчину неоднократно удавалось оказывать покровительство Карамзину. Так, в царствование Павла I он несколько раз защищал Карамзина на самом высоком уровне от доносов на него императору [17, с. 244; 12, с. 244]. В александровское царствование именно Ростопчин познакомил Карамзина с великой княгиней Екатериной Павловной, что способствовало не только приближению историографа ко двору «тверской полубогини» (выражение самого Карамзина), но и в целом к членам царствующей династии.

Еще больше точек соприкосновения между Ростопчиным и Карамзиным было на идейном поле. В царствование Александра I оба выступили в качестве главных представителей так называемой русской партии, громко заявившей о себе накануне и во время наполеоновского нашествия. Оба были защитниками идеи самодержавия и ведущей роли православия в истории России и русского народа; подчеркивали значимость русской истории, языка, традиционной культуры. Оба в разной степени придерживались антизападнической позиции как в политической, так и в культурной сфере. Одновременно с этим, как и прочие ранние консерваторы, Ростопчин и Карамзин выступали за сохранение традиционной иерархии общества, считая дворянство опорой трона и государства; были решительными противниками отмены крепостного права, видя в этом предпосылку грандиозной социально-политической катастрофы; для них были неприемлемы революции и любые реформы, подрывающие Традицию. Всё это были базовые ценности и идеи раннего консерватизма и национализма.

Однако существовали в их взглядах, а также способах их выражения и распространения отличия, носившие второстепенный характер, но именно они и повлияли на особую, «неполиткорректную» репутацию Ростопчина не только среди современников, но и среди потомков, в том числе, историков.

В интеллектуальной биографии Ростопчина не случалось резких и крутых поворотов. Он оставался на редкость постоянным в своих взглядах и политических пристрастиях. В отличие от Карамзина, он никогда не был либералом, республиканцем, космополитом. Политическим взглядам и общественным идеалам Ростопчина в царствование Екатерины II трудно дать развернутую характеристику. Тем не менее широкую известность получила его нелюбовь к иностранцам, особенно к тем, кто находился на русской службе. «Непримиримым врагом» и «преследователем» иноземцев называли его как отечественные, так и зарубежные мемуаристы [9, с. 181; 4, с. 358]. Сам Ростопчин еще во время военной службы при Екатерине с раздражением писал о том, что русская армия «наполнена иностранцами, людьми без рода и племени» [6, с. 84], а уже в павловское царствование высказывался против того, чтобы важные государственные посты Российской империи доверять «иноземцам» [6, с. 89]. Отчасти из-за этого Ростопчина считают представителем «русской партии» при дворе Павла I, ставившей во главу угла приоритет национальных интересов во всех сферах государственной жизни Российской империи.

<sup>1</sup> Первая жена Карамзина, Елизавета Ивановна Протасова была родной тетей жены Ростопчина, Екатерины Петровны Протасовой. Отец Екатерины Петровны Ростопчиной, сенатор Петр Степанович Протасов был женат на своей дальней родственнице Александре Ивановне Протасовой, родной сестре Елизаветы Ивановны Карамзиной (умерла в 1802 году).

Особенно явно апелляция к этому принципу проявилась во внешней политике России 1799–1801 годов. Именно со вступлением Ростопчина в должность первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел в сентябре 1799 года внимательные наблюдатели [5, с. 571] связывали начало нового внешнеполитического курса России, в основу которого легла идея русско-французского союза. При этом именно влиянием Ростопчина на Павла I объяснялась кардинальная перемена во внешнеполитических ориентирах России конца XVIII столетия. Во всяком случае, уже в ноябре 1799 года английский посланник при русском дворе лорд Ч. Уитворт, отмечая «роковую» перемену в мыслях и намерениях императора Павла, связывал ее исключительно с влиянием Ростопчина [39, с. 275].

Идея русско-французского союза стала частью целостной внешнеполитической концепции Ростопчина. По наблюдению современников, его политика основывалась на положении, в соответствии с которым «России нет никакой надобности вмешиваться в дела Европы и что ей достаточно одного – внушать своим соседям страх», при этом она может «с полной безопасностью изолироваться и созерцать падение других правительств, не опасаясь себе подобной участи» [4, с. 589; 39, с. 275]. Действительно, в записке Ростопчина о политических отношениях России в последние месяцы павловского царствования [33] высказывались мысли о самодостаточности и независимости России на мировой арене и об исконной, природной враждебности к ней со стороны стран Западной Европы. Эти идеи получили дальнейшее развитие в русской мысли XIX–XX веков, в том числе сочинении Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». (Весьма примечательно, что сам Н.Я. Данилевский в качестве эпиграфа к главе, посвященной внешней политике России, взял цитату из записки Ростопчина [33, с. 92; 10, с. 435].) Не используя сам термин, Ростопчин тем не менее весьма точно описал в своей записке такое явление, как русофобия. Он видел ее истоки в страхе Европы перед могуществом и силой России. По его мнению, Россия с ее исключительным положением и «неистощимой силой», имеет объективные предпосылки быть «первой державой мира», что, вызывая «зависть и злобу» прочих держав, толкает их на враждебные против нее действия [33, с. 90]. Главным внешнеполитическим соперником России Ростопчин считал Англию. Именно поэтому его грандиозный проект раздела владений Османской империи между европейскими державами исключал участие в нем Великобритании, традиционно считавшей этот регион сферой своих интересов. Еще одной действенной мерой, которая преследовала цель поколебать английское могущество, была организация и начало легендарного Индийского похода, пусть не автором, но сторонником которого являлся Ростопчин. Собственно все эти смелые и радикальные планы и их реализация привели в конечном счете к отставке Ростопчина в конце павловского царствования в результате интриги влиятельной «английской партии», а также убийству Павла I.

Ростопчин до конца жизни сохранил благоговейное отношение к личности убитого императора. В отличие от большинства ранних консерваторов, в том числе, и Карамзина [12, с. 281], он выступал апологетом его царствования, считая, что Павлу просто не хватило времени на свершение дел, способных возвеличить Россию, а его имя прославить в веках [28, с. 374]. Это была не вполне типичная для того времени позиция. Даже в «классическом манифесте русско-го консерватизма» [14] – записке Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Павлу I отводится роль тирана наряду с Иваном Грозным, а его царствование называется «вредным» [14, с. 263]. Положительная оценка личности и деятельности императора Павла является своего рода лакмусовой бумажкой для определения крайне правых взглядов. Примечательно, что настоящий культ Павла I сформировался в черносотенной среде в начале XX века.

Являясь почитателем Павла I, Ростопчин видел в его венценосном сыне виновника гибели своего благодетеля. При этом он не скрывал своего отношения к молодому императору. Александру I, например, были известны слова Ростопчина, назвавшего Аустерлицкое поражение русских войск «Божьим наказанием» за убийство Павла I [38, с. 215]. Александр и раньше не испытывал особого расположения к фавориту отца, но столь жесткие обвинения тем более не способствовали потеплению его отношения к Ростопчину. Впоследствии, назначая Ростопчина на пост московского генерал-губернатора в судьбоносное для России время, Александр I всего лишь поддавался уговорам близких людей, переступая через свою антипатию.

Сразу после смерти Александра I Ростопчин следующим образом охарактеризовал общественное настроение: «Народ равнодушен. Дворянство, раздражаемое, разоренное и презираемое, довольно. Военные надеются, что их менее будут мучить» [29, с. 318]. В этой жесткой и откровенной характеристике проявилось личное отношение Ростопчина к покойному императору и к его царствованию. В то же самое время другой консерватор, Карамзин, признавался в любви к Александру I: «Не было во мне ослепления, но было много любви, которую столько люблю!» И далее, как бы вслед за Ростопчиным, касался общественной реакции на смерть императора, правда, не русской, а европейской: «Можно ли читать без умиления, что пишут об Александре умнейшие французы и англичане? Нам лучше безмолвствовать красноречиво» [27, с. 686].

С самого начала александровского царствования Ростопчин встал в идейную оппозицию новому курсу, подвергая критике как либеральную политику самого императора, так и господствующие в обществе идеи и настроения. Власть и общество Ростопчин критиковал за нравственную деградацию, культивирование идей рационализма и космополитизма, процветание масонства и отсутствие порядка практически во всех сферах государственной жизни. В эти годы возникают такие яркие сочинения Ростопчина, как повесть «Ох, французы!» [38], комедия «Вести, или Убитый живой» [31] и, наконец, знаменитый антифранцузского памфлет «Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева» [34]. Воздействие, которое оказал на русское общество памфлет Ростопчина, было огромным. Многие современники заучивали его наизусть. Появились многочисленные подражатели Ростопчину. Для современников и потомков ростопчинский Сила Андреевич Богатырев стал подлинным олицетворением русскости, яркой эмблемой народности и патриархальности.

«Господи помилуй! Да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: “Сгинь ты, дьявольское наваждение! Ступай в ад или восвояси, все равно, – только не будь на Руси”», – на столь высокой эмоциональной ноте начинается монолог старого патриота, возмущенного ролью, которую стали играть французы в России. В слепом преклонении русских перед французами он видел непонятное для него национальное самоуничтожение соотечественников, которые отказались от своей великой миссии и героического прошлого. «Уж ли Бог Русь на то создал, чтоб она кормила, поила и богатила всю дрянью заморскую, а ей, кормилице, и спасибо никто не скажет?» [34, с. 420] – недоумевал Богатырев, для которого сам по себе француз достоин большего осуждения и презрения, чем его русский поклонник. До выхода в свет «Мыслей вслух на Красном крыльце» Ростопчин не демонстрировал столь широко и откровенно свою галлофобию.

Однако основная идея памфлета заключалась не столько в критике всего французского, сколько в демонстрации превосходства всего русского, будь то русская армия, русский народ или русское дворянство, наконец, славная рус-



ская история. Можно сказать, что главная цель ростопчинского памфлета заключалась в громкой националистической риторике. Во всяком случае, такие восклицания Силы Андреевича как «Ура, русские, вы одни молодцы!» или «Чего лучше быть русским?» [34, с. 421], свидетельствуют об этом. Примечательно, что в появившейся вскоре комедии Ростопчина «Вести, или Убитый живой» тот же Сила Андреевич Богатырев прямо заявлял: «Я люблю все русское, и если бы не был русским, то желал бы быть только русским. Ибо ничего лучше и славнее я не знаю» [31, с. 438].

В печати в эти годы Ростопчин заявил о себе прежде всего как националист, а уж потом консерватор, для которого приоритетными являлись не проблемы сохранения существующей иерархии русского общества и традиций межсословных отношений, а идея национального единства. Между тем стиль и идеологическое наполнение его сочинений получили в либеральной историографии крайне отрицательную оценку.

Дальнейшая публицистическая деятельность Ростопчина добавила к его репутации «квасного патриота» и галлофоба, новые грани. В 1811 году Ростопчин подготовил для великой княгини Екатерины Павловны антимасонскую записку [32], в которой история деятельности масонских лож в России была вплетена в канву теории тайного мирового заговора. Поскольку в масонстве Ростопчин видел политическую силу, направленную на подрыв основ государства и традиционного общества, то борьба с ним вскоре стала одним из направлений его деятельности на посту московского главнокомандующего. В свою очередь в мировоззрении Карамзина такая черта, как масонофобия, отсутствовала, что лишний раз подчеркивало респектабельность его консерватизма.

Была у записки Ростопчина и «практическая» цель: дискредитация личности и деятельности государственного секретаря М.М. Сперанского, чьи проекты либеральных преобразований вызывали серьезные опасения в консервативных кругах. В «Записке о мартинистах...» Ростопчин отмечал прочную связь государственного секретаря с русскими масонами, которые ему «более или менее преданы», а он «пользуется их услугами для направления дел», держа их в зависимости от себя [32, с. 145].

Падение всесильного Сперанского в марте 1812 года современники связывали с мощной кампанией против него «русской партии». Внес свой вклад в общее дело и Ростопчин. Великая княгиня Екатерина Павловна познакомилась с Александром I с «Запиской о мартинистах» Ростопчина. Впрочем, она же стала инициатором знакомства монарха с «Запиской о древней и новой России» Карамзина. Оба текста в той или иной степени были направлены против государственного секретаря.

Репутация Ростопчина как патриота и консерватора, а также его популярность в Москве способствовали тому, что накануне Отечественной войны 1812 года он был назначен на один из ключевых постов Российской империи – пост московского военного губернатора, а вскоре и главнокомандующего Москвы. Это назначение состоялось вопреки желанию Александра I, но благодаря влиянию на него сестры, великой княгини Екатерины Павловны.

Оказавшись во главе Москвы в 1812 году, Ростопчин получил почти неограниченные полномочия, приобретая уникальную возможность реализовать на практике идею государственной власти в ее национально-консервативном варианте. В условиях войны и при необходимости тотальной мобилизации общества консерватизм Ростопчина приобрел радикальное звучание. Некоторые мероприятия Ростопчина, призванные сплотить московское население перед лицом врага, имели и прагматический смысл. Так, накануне оставления Москвы Ростопчин выслал на барке в Нижний Новгород около сорока французов. Эта акция носила публичный характер: при большом стечении народа группа ино-

странцев была посажена в барку и отправлена водным путем в Нижний Новгород. Но помимо того, что эта мера была осуществлена, по собственному признанию Ростопчина, «для удовольствия народа» [11, с. 102], она преследовала и цель очистить Москву от наиболее неблагонадежных элементов. По просьбе московского главнокомандующего полиция представила список иностранцев, которые «были замечены по своим неуместным речам и дурному поведению». Похожую меру предпринял московский главнокомандующий и против местных евреев – владельцев питейных заведений. Вместе с семьями они были отправлены в Нижний Новгород [1, л. 7]. Процветание питейных домов вызывало у Ростопчина нескрываемую тревогу за нравственное состояние соотечественников, которые в скором времени «вместо громады верноподданных» могут представить «скопище пьяниц и воров». Во время войны эта проблема встала особенно остро, так как пьянство нарушало общественный порядок, который он всеми силами стремился сохранить.

Репрессиям со стороны Ростопчина подверглись летом 1812 года и масоны. Считая всех масонов «друзьями Бонапартьевыми» (слова П.И. Голенищева-Кутузова) [24, с. 392], летом 1812 года Ростопчин стремился удалить из Москвы наиболее видных и опасных из них. Из-за рассылки через почтамт пораженческих прокламаций, ведения служащими почтамта антиправительственных бесед и неподчинения властям московский почт-директор Ф.П. Ключарев был сослан Ростопчиным в Воронеж. Подобная же участь постигла и другого служащего почтамта – надворного советника Дружинина. Однако наибольшую известность в антимасонской компании Ростопчина имело дело Верещагина. 2-й гильдии купец Михаил Верещагин, масон, поклонник Наполеона, человек из окружения почтамтских служащих был уличен в сочинении и распространении прокламаций, носивших откровенно пораженческий характер. Суд приговорил Верещагина в пожизненной ссылке в Нерчинск, однако в трагических обстоятельствах оставления Москвы Наполеону он был казнен по распоряжению московского главнокомандующего.

Особую роль в своей деятельности Ростопчин отводил патриотической пропаганде. Современники писали о неслыханном, доходящем «до умопомрачения» патриотизме народа [40, с. 72], всячески подогреваемом московским главнокомандующим. Своеобразным орудием его патриотической пропаганды стали особые афиши, которые не только имели повсеместное распространение в Московской губернии, но и по своему стилю и содержанию были доступны простому народу. По воспоминаниям современников, афишки Ростопчина читались народом с большим интересом, после прочтения прокламации обычно крестились и горячо, с великим патриотизмом говорили о защите Москвы [40, с. 71].

Именно благодаря удачно подобранному для данного момента «народному стилю» афиши Ростопчина приобрели широкую популярность в 1812 году. Однако если в народной среде, к которой прежде всего и апеллировал Ростопчин, афиши принимались в основном с сочувствием и одобрением [40; 9], то в высших кругах московского общества часто звучала критика и порой весьма резкая по отношению к стилю и содержанию посланий главнокомандующего Москвы. Так, некоторым современникам язык посланий Ростопчина казался «площадным» и «пошлым» [3, с. 77; 37, с. 600–601; 25, с. 46].

Даже Карамзину не нравились, по словам П.А. Вяземского, «ни слог, ни некоторые приемы этих летучих листов». Под предлогом того, что Ростопчину, обремененному делами первой важности, нет времени заниматься еще сочинениями, Карамзин предлагал писать афиши вместо него. Однако Ростопчин отклонил это предложение. «Нечего и говорить, – писал П.А. Вяземский, – что под пером Карамзина эти листки, эти беседы с народом были бы более сдер-

жанными, и вообще имели бы более правительственного достоинства. Но зато лишились бы этой электрической, скажу, грубой, воспламенительной силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ» [7, с. 185].

Это замечание Вяземского свидетельствует не только и не столько о разнице литературных стилей Ростопчина и Карамзина, сколько о более глубоком, идейном расхождении двух консерваторов. Вероятно, Карамзина смущал в афишах Ростопчина не архаичный, простонародный язык (хотя и это, вероятно, было), а сама свобода, доверительность общения главнокомандующего с народом, заигрывание с ним ради мобилизации вокруг национальной идеи. Сам Вяземский видел в издаваемых Ростопчиным афишах «выходки», по его выражению, «далеко не консервативные» [8, с. 72]. «Влечение Ростопчина к черни», было несовместимо в его представлении с консервативной репутацией графа [8, с. 72].

Интересно в связи с этим замечание современного американского историка А. Мартина, в соответствии с которым Ростопчин своими идеями «собирал приблизительно такую коалицию общественных сил, как черносотенные и фашистские движения XX века» [18, с. 74]. Как впоследствии и фашисты, Ростопчин взывал, по его словам, к средним слоям общества, которые отличались социальной воинственностью и культурным консерватизмом и составляли основную часть читателей его афиш. Наконец, именно они были наиболее восприимчивыми к демагогической ксенофобии Ростопчина, его теориям о масонском заговоре [41, р. 15]. Действительно, в своей деятельности Ростопчин нередко поднимал вопрос об общенациональных интересах, лежащих во внесловной плоскости, свободно переступая через сословные барьеры.

Мощная националистическая риторика Ростопчина не противоречила основным принципам консерватизма. Залог победы над Наполеоном (как это следует из содержания афиш) московский главнокомандующий видел в традиционных русских началах: неизменном уповании православного народа на Бога, верности государю и самоотверженной любви к Отечеству. (В одной из афиш Ростопчин писал о себе следующие: «...Я верный слуга царский, русский барин и православный христианин» [30, с. 151].) Ростопчин объяснял народу превосходство русской армии над французской тем, что «наши войска – русские; единого закона, единого царя, защищают церковь Божию, дома, детей и погосты», тогда как представители «великой армии» «дерутся за хлеб» и «умирают на разбое» [30, с. 153].

Для противодействия наполеоновской пропаганде, летом 1812 года Ростопчин инициировал кампанию по борьбе с иностранными шпионами. В результате его действий бдительность московских обывателей в отношении иностранцев достигла невиданных размеров. Призыв Ростопчина – «За хохол да на съезжую» всех кто станет «восхвалять» Наполеона, – оказался достаточно действенным. Было достаточно малейшего неосторожного слова или подозрительного поведения, для того чтобы в лучшем случае оказаться на допросе у главнокомандующего, в худшем – подвергнуться народному самосуду. Примечательно, что Ростопчин предписывал наравне с прочими разносчиками «опасных идей» «брать под караул» дворян и доносить ему лично о подобных случаях [2, л. 18 об.]. Это очередной пример того, как с подачи Ростопчина сословные привилегии теряли свою силу в условиях национальной катастрофы. Для русского общества начала XIX века, безусловно, это было слишком «опасным» явлением.

Впоследствии, когда с окончанием войны началась мощная кампания русской аристократии по дискредитации личности и деятельности московского главнокомандующего, не в последнюю очередь учитывался его «военный» опыт пренебрежения сословными границами. При этом чаще всего Ростопчина об-

виняли в злоупотреблении властью. Обратим внимание, что главными творцами антиростопчинского мифа в сознании современников и потомков выступили именно те представители московского общества, которые испытали на себе административную жесткость московского главнокомандующего (например, П.С. Валуев, П.И. Голенищев-Кутузов, А.Д. Бестужев-Рюмин) [20, с. 207–208]. Так, именно крайне пристрастные воспоминания чиновника вотчинного департамента А.Д. Бестужева-Рюмина, служившего при Наполеоне в бытность его в Москве и затем осужденного за это при Ростопчине, часто являлись и являются едва ли не основным источником при характеристике личности Ростопчина и его деятельности на посту московского главнокомандующего. На воспоминания Бестужева-Рюмина как на авторитетный источник ссылались в свое время многие либеральные исследователи. Их активно использовал Л.Н. Толстой при создании романа «Война и мир».

Кульминацией патриотической деятельности московского главнокомандующего летом 1812 года стала организация грандиозного московского пожара. Это событие явилось радикальной мерой борьбы с деморализацией русских, вызванной неуклонным отступлением в глубь страны и сдачей без боя древней столицы. Московский пожар сыграл решающую и спасительную роль в Отечественной войне 1812 года, однако в русском обществе получил негативную оценку и стал главной причиной открытой травли Ростопчина. Даже Карамзин, несмотря на уважение и доверие к Ростопчину, был противником такой радикальной меры, как сожжение первопрестольной столицы, и не поддерживал его в этом [26, с. 104].

Административный опыт Ростопчина в 1812 году способствовал тому, что за ним закрепилась репутация «ловкого» или «зарвавшегося» патриота [14, с. 279–280], предшественника черносотенцев [18], ярого масонофа [19, с. 278] и ксенофаба [16, с. 121]. Действительно, в условиях Отечественной войны произошла радикализация его консервативных и националистических взглядов. Это проявлялось и в абсолютизации принципа порядка, и в крайних способах консолидации московского населения, а националистическая риторика Ростопчина предвоенных лет получила в 1812 году новое, еще более острое звучание. На этом фоне просвещенный консерватизм Карамзина выглядит более чем респектабельно даже для либерального сознания, хотя и историограф не был чужд националистическим идеям [21, с. 277–278], равно как и базовых консервативных ценностей, которых придерживался Ростопчин. Вероятно, именно формы подачи одних и тех же идей, расстановка акцентов и выбор приоритетов и вносили настоящее разнообразие в интеллектуальные портреты двух ранних консерваторов.

## Литература

1. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–8.
2. Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 160. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 18–18 об.
3. *Бестужев-Рюмин А.Д.* Краткое описание происшествий в столице Москве в 1812 году // ЧОИДР. 1859. Кн. II. Ч. V. С. 65–97.
4. [Брэ Ф.-Г. де] Записки баварца о России времен императора Павла / Сообщ. Е. Шумигорский // Русская старина. 1899. Т. 99. С. 345–557.
5. *Брэ Ф.-Г. де.* Петербург в конце XVIII – начале XIX века // Русская старина. 1902. № 3. С. 571.
6. Вести из России в Англию // Русский архив. 1876. № 1. С. 79–120.
7. *Вяземский П.А.* Воспоминания о 1812 годе // Русский архив. 1869. № 1. С. 181–216.
8. *Вяземский П.А.* Характеристические заметки и воспоминания о гр. Ростопчине // Русский архив. 1877. № 5. С. 69–78.
9. *Головкин Ф.Г.* Двор и царствование Павла I: Портреты, воспоминания / Пер. с фр. А. Кукеля; предисл. и примеч. С. Боннэ; сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. Д. Исмаил-Заде. М.: Олма-пресс, 2003.
10. *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. М.: Книга, 1991.

11. *Дубровин Н.Ф.* Отечественная война в письмах современников (1812–1815 гг.). СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1882.
12. *Егерева Т.А.* Русские консерваторы в социокультурном контексте эпохи конца XVIII – первой четверти XIX вв. М.: Новый Хронограф, 2014.
13. *Земцов В.Н.* Смерть Верещагина: западник, патриот и власть // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2011. Вып. 9: Россия и Запад в переходную эпоху от средневековья к новому времени. С. 266–282.
14. *Карамзин Н.М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова, примеч., именной указ. С.В. Хатунцева и Н.Н. Лупаревой; отв. ред. О.А. Платонов. М., 2013. С. 233–327.
15. *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника // *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова, примеч., именной указ. С.В. Хатунцева и Н.Н. Лупаревой; отв. ред. О.А. Платонов. М., 2013. С. 59–75.
16. *Кизеветтер А.А.* 1812 г. Ф.В. Ростопчин // *Кизеветтер А.А.* Исторические отклики. М., 1915. С. 27–187.
17. *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987.
18. *Мартин А. Ф.В.* Ростопчин – герой 1812 года или предшественник черных сотен // Консерватизм: идеи и люди / Под ред. П.Ю. Рахшмира. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. С. 67–79.
19. *Мельзунов С.П.* Ростопчин – Московский главнокомандующий // Отечественная война и русское общество. 1812–1912. М.: Изд. т-ва И.Д. Сытина, 1912. Т. IV. С. 34–83.
20. *Мещерякова А.О.* Ф.В. Ростопчин: у основания консерватизма и национализма в России. Воронеж: Изд. дом «Китеж», 2007.
21. *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм первой четверти XIX в. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011.
22. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примеч. и объяснениями М. Погодина. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1866. Ч. 2.
23. *Пайпс Р.* Русский консерватизм и его критики: исследование политической культуры. М.: Новое издательство, 2008.
24. Письма П.И. Голенищева-Кутузова к гр. А.К. Разумовскому // *Васильчиков А.А.* Семейство Разумовских. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1880. Т. 2. С. 288–443.
25. Письма Н.М. Лонгинова к графу С.Р. Воронцову // Русский архив. 1912. № 6. С. 161–206.
26. Письма гр. Ф.В. Ростопчина к князю П.Д. Цицианову (1803–1806) // Деятельный век. М.: Изд. П. Бартенева, 1872. Кн. II. С. 1–113.
27. Письмо к князю П.А. Вяземскому от 31 декабря 1825 г. // *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и народной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова, примеч., именной указ. С.В. Хатунцева и Н.Н. Лупаревой / Отв. ред. О.А. Платонов. М., 2013. С. 686–687.
28. Письмо графа Ф.В. Ростопчина к великой княгине Екатерине Павловне от 14 апреля 1810 года // Русский архив. 1886. № 2. С. 374–375.
29. Последние страницы, писанные графом Ростопчиным // *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! М.: Русская книга, 1992. С. 315–319.
30. *Ростопчин Ф.В.* Афиши 1812 года, или Дружеские послания от главнокомандующего в Москве к жителям ее // *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с фр., примеч. А.О. Мещеряковой. М., 2014. С. 148–160.
31. *Ростопчин Ф.В.* Вести, или Убитый живой: Комедия в одном действии // *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с фр., примеч. А.О. Мещеряковой. М., 2014. С. 431–486.
32. *Ростопчин Ф.В.* Записка о мартинистах, представленная в 1811 году великой княгине Екатерине Павловне // *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с фр., примеч. А.О. Мещеряковой. М., 2014. С. 139–147.
33. *Ростопчин Ф.В.* Записка о политических отношениях России в последние месяцы Павловского царствования // *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с фр., примеч. А.О. Мещеряковой. М., 2014. С. 86–96.
34. *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева // *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с фр., примеч. А.О. Мещеряковой. М., 2014. С. 420–424.
35. *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! Наборная повесть из былей, по-русски писанная // *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с фр., примеч. А.О. Мещеряковой. М., 2014. С. 346–419.
36. *Ростопчин Ф.В.* Путешествие в Пруссию // *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с фр., примеч. А.О. Мещеряковой. М., 2014. С. 287–345.
37. *Рунич Д.П.* Записки // Русская старина. 1901. № 3. С. 597–633, 600–601.
38. Русский архив. 1881. Кн. 3. С. 215.
39. *Шильдер Н.К.* Россия в ее отношениях к Европе в царствование императора Александра I, 1806–1815 гг. // Русская старина. 1888. Т. 57. № 2. С. 269–319.
40. *Эрстрем Э.Г.* Для меня и моих друзей (дневник финляндского студента) // Наше наследие. 1991. № 5. С. 67–83.
41. *Martin A.* The Napoleonic Wars and the Origins of Conservative Politics in Russia and Spain // Эволюция консерватизма: Европейская традиция и русский опыт: Материалы международной научной конференции. Самара, 26–29 апреля 2002 года. Самара, 2002. Р. 12–22.

*Аннотация.* В статье рассматриваются взгляды и деятельность Ф.В. Ростопчина – яркого представителя раннего консерватизма в России, друга и единомышленника Н.М. Карамзина. Особое внимание уделяется причинам, по которым в научной литературе и общественном сознании укоренился негативный образ Ростопчина. Сравнивая его взгляды и взгляды Карамзина, делается вывод о том, что при общем сходстве базовых идей были и отличия в их мировоззрении, которые повлияли на особую, «неполиткорректную» репутацию Ростопчина.

*Ключевые слова:* консерватизм, национализм, Ф.В. Ростопчин, Н.М. Карамзин, Александр I, Отечественная война 1812 года.

Arina Meshcheryakova, Ph.D. in History, Chief Fund Curator, Voronezh State University.  
E-mail: arina-m@mail.ru

### **The Features of Conservatism Patriotism: N.M. Karamzin and F.V. Rostopchin**

**Abstract.** The article examines the views and activities of F.V. Rostopchin – an outstanding representative of early conservatism in Russia, a friend and associate of N.M. Karamzin. The author focuses special attention on the reasons of negative interpretation of the image of Rostopchin in scientific books and public conscience. Comparing his views with those of Karamzin, the author concludes that in spite of similarity of their basic ideas there were also differences in their vision that influenced the special “non-politically correct” image of Rostopchin.

**Keywords:** Conservatism, Nationalism, F.V. Rostopchin, N.M. Karamzin, Alexander I, Patriotic War of 1812.

## **«Русский народ» и «Российское государство»: Н.А. Полевой vs Н.М. Карамзин**

Выход в свет «Истории государства Российского» Карамзина вызвал восторг среди публики<sup>1</sup>, но с самого начала весьма сложную реакцию среди специалистов<sup>2</sup>. Публика впервые получила текст, представлявший русское прошлое и увлекательно (несмотря на оговорки, сделанные Карамзиным в предисловии, об относительной скучности своего предмета), и риторически возвышенно, – повествование об истории, «достойное своего предмета», картину событий и воодушевлявших, и заставлявших задумываться. Великая в современности империя обрела свой исторический монумент.

Время, когда «все обращалось к истории», получило соответствующий текст о русском прошлом – не собрание отдельных изысканий, а связный рассказ, преднамеренно простой, «летописный», то есть производящий подобное впечатление, не «рассуждение о русской истории», а собственно историю.

Возражения со стороны части публики касались, собственно, тех сиюминутных предпочтений, отражение и обоснование которых она желала найти в тексте. Так, М.Ф. Орлов сетовал на то, что не восславлены республиканские доблести новгородцев, Пушкин в общеизвестной эпиграмме язвил на счет проповеди покорности властям<sup>3</sup>. Для других же оказывался соблазнительным IX том, и они сомневались в допустимости выводить на свет преступления второй половины царствования Иоанна Грозного, но здесь монаршая санкция вынуждала тех, кто был монархистом более чем сам монарх, молчать публично<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Карамзин писал главному управляющему московского архива Министерства иностранных дел А.Ф. Малиновскому, много помогавшего ему в работе над «Историей»: «27-го февраля сбыл я с рук *последние* экземпляры моей Истории, и дня через два буду свободен от книжных хлопот. Это у нас дело беспрецедентное: в 25 дней продано 3.000 экз.» [10, с. 26, письмо от 27.II.1818], а месяц спустя тому же корреспонденту сообщал, что у него у самого нет ни одного экземпляра «Истории...» кроме трех непроданных и предполагал: «Разве из дефектов выберется что-нибудь» (10, с. 26–27, письмо от 25.III.1818).

<sup>2</sup> В целом о реакции и отзывах современников см. обстоятельное исследование: [11].

<sup>3</sup> Далеко не одни молодые были недовольны подобным образом мыслей. Так, в письме к И.И. Дмитриеву от 22 ноября 1817 года Карамзин передавал мнение канцлера, графа Н.П. Румянцева: «Давно не говорил я тебе об *умном* Министре: он не всегда ласков ко мне и жалуется, что я хвалю Самодержавие, а не *либеральные* идеи; то есть, хвалю печи зимою в Северном климате!» [9, с. 225].

<sup>4</sup> В этом разноречии сам Карамзин находил утверждение достоинств своей «Истории...». А.С. Стурдза вспоминал: «Нередко случалось мне слышать упреки Исто-

Возражения специалистов носили совершенно иной характер – то, что нравилось публике, как раз и вызывало их сомнения: героичность тона, живописание доблестей предков, например, оценивались как ложные краски – из-за чего действующие лица прошлого предстают в облике, им совершенно не свойственном. Так, Иоахим Лелевель перечислил четыре опасности, подстерегающие историка, и отмечал, что ни одной из них не сумел избежать историограф:

Историк может впасть в невольное заблуждение «1) через сообщение прошедшему времени характера настоящего, 2) когда писатель увлекается чувством народности, 3) от привязанности к своей религии и 4) от ослепления политического мнения» [14, с. 195].

В свою очередь здесь критика оказалась сосредоточена с двух сторон. Для одних, в частности для тех, кто входил в «румянцевский кружок», занимаясь тщательными изысканиями по русской истории, собиранием и описанием летописей и древних актов [12], «История...» Карамзина была неудовлетворительна своей ненаучностью. Им было свойственно скорее представление, что время такой истории вовсе не пришло, поскольку она мыслилась ими как свод, итог огромной подготовительной работы, едва только начатой [14, с. 189–192]. Здесь сказывался идеал «окончательного» знания, «История...» должна была стать завершением, а не этапом в пути, но при масштабах намеченного пути вряд ли была возможность и столетие спустя приступить к ее написанию. Сторонники этого взгляда мечтали о публикации первоисточников, составлении словарей и справочников, специальных монографиях. Иные же направляли критику «Истории...» по совсем другим основаниям: от истории требовали не рассказа, не красоты слога и яркости изображения, но ясности мысли, концепции русской истории и не находили таковой у Карамзина – тот давал описание событий прошлого, а не их объяснение<sup>1</sup>. Уже значительно позднее, в 1838 году, когда полемика с Карамзиным ушла в прошлое и он уже превратился в «классика», фигуру, символизирующую саму русскую историографию и славу прошлых царствований, М.П. Погодин писал, облекая критику в форму восхваления:

«Первое почетное место [...] принадлежит, без всякого сомнения, Карамзину, которого Пушкин очень верно называл последним Летописателем и первым Историком. Карамзин передал нам превосходно наши летописи, сообразив и очистив все их известия, представил Русскую Историю анатомически [...], но мы, его потомки, должны уже идти далее – раскрывать ее физиологию; он описал нам кости, мышцы, нервы Русской Истории, – теперь наступила пора, идя по его следам, с его помощью, разбирать их значение,

рии Карамзина и за то, что автор вывел из творения своего неверные и односторонние заключения. Некто, ревностный читатель бессмертного его труда, однажды при мне выразил ему самому это замечание. Карамзин отвечал на сие вопросом: “Вы, может быть, правы: но скажите, какое впечатление производит на вас моя История? Если оно не согласно с моим мнением, то в этом я не вижу беды. Добросовестный труд повествователя не теряет своего достоинства потому только, что читатели его, узнав с точностью события, разногласят с ним в выводах. *Лишь бы картина была верна, – пусть смотрят на нее с разных точек*”» [15, с. 204–205].

<sup>1</sup> С точки зрения самого Карамзина это и не могло являться его целью. Так, в письме к А.Ф. Малиновскому от 30 января 1821 года, собираясь приступить к X тому «Истории...», он делился своими планами и пониманием качеств, потребных историку: «Хотелось бы дописать до Романовых: тут конец поэмы – остальное наследникам. Еще бы два тома, и поклон истории! но не обманываю себя: едва ли удастся, разве Бог поможет! *Лета склоняют мой ум к метафизике: это не годится для изображения действия и характеров. Одна надежда на сердце, еще не совсем старое* [курсив наш – А. Т.]» [10, с. 50–51].



связь, взаимное влияние, объяснять все явления жизненного организма. Работа трудная, которая, разумеется, должна быть разделена на части: нам надо отказаться от огромных предприятий, кои служат признаком молодости, неопытности, неведения, не только в частных лицах, но и в целых литературах; теперь пора разделения труда по правилу Политической Экономии, пора монографий [...]» [2, с. 180]<sup>1</sup>.

В то время как властью над умами завладевала философия, светский протез религии, от истории требовали философского понимания – последовательность событий и происшествий, чтобы претендовать на внимание, должна была обладать неким смыслом, внутренним единством, а не только лишь тем, что все это можно отнести к «нашему прошлому». Полевой прямо выразил это, объявив в 1829 году Карамзина человеком прошлого:

«[...] как сам Карамзин вообще был писатель не нашего века, так и Истории его мы не можем назвать творением нашего времени» [18, с. 37].

Громкий вестник «современности», требование поспевать за которой выражено в самом названии его журнала, обязывавшегося с «телеграфической скоростью» передавать новейшие известия из европейского мира образования и литературы, Полевой писал:

«Время летит быстро, и дела и люди быстро сменяются. Мы едва можем уверить себя, что почитаемое нами настоящим, сделалось *прошедшим*, современное – *историческим*. Так и Карамзин. Еще многие причисляют его к нашему поколению, к нашему времени, забывая, что он родился шестьдесят с лишком лет тому назад (в 1765 году); что более 40 лет прошло, как он выступил на поприще литературное; что уже совершилось 25 лет, как он прекратил все другие упражнения и занялся только историею России, и, следовательно, что он приступил к ней *за четверть века до настоящего времени*, будучи почти *сорока лет: это такой период жизни, в который человек* не может уже стереть с себя типа первоначального своего образования, может только не отстать от своего быстро грядущего вперед века, только следовать за ним, и то напрягая все силы ума.

Хронологический взгляд на литературное поприще Карамзина показывает нам, что он был литератор, философ, историк *прошедшего века, прежнего, не нашего поколения*» [18, с. 34–35].

Критика Карамзина Арцыбашевым и Полевым произвела наибольший эффект – по крайней мере с точки зрения публичных откликов. Их публикации –

<sup>1</sup> Десятью годами ранее, вынужденный защищаться против обвинений в напечатании статей Н.С. Арцыбашева, Погодин в «Ответе издателя» на им же самим написанное «Письмо к издателю» (Московский вестник. 1828. Т. XII) так оценивал «Историю...»: «Карамзин велик, как художник, живописец, *хотя* его картины часто похожи на картины того славного итальянца, который героев всех времен одевал в платье своего времени, хотя в его Олегах и Святославах мы видим часто Ахиллесов и Агамемнонов Расиновых. Как критик, Карамзин только мог воспользоваться тем, что до него было сделано, особенно в древней истории, и ничего почти не прибавил своего. Как философ, он имеет меньшее достоинство, и ни на один философский вопрос не ответят мне из его истории. Не угодно ли, например, вам, м.г., поговорить со мной о следующем: чем отличается российская история от прочих европейских и азиатских историй? Апофегмы Карамзина в истории суть большею частью общие места. Взгляд его вообще на историю, как науку, – взгляд неверный, и это ясно видно из предисловия. Относительные, также великие заслуги Карамзина состоят в том, что он заохотил русскую публику к чтению истории, открыл новые источники, подал нить будущим исследователям, обогатил язык» [14, с. 197].

одного в 1828<sup>1</sup>, а другого в 1829 году<sup>2</sup> – вызвали скандалы, память о которых не проходила в течение долгого времени, но всего интереснее то, что оба автора не только дали развернутую критику «Истории...», но и представили собственные, положительные альтернативы. Впрочем, труд Арцыбашева появился (не по его вине) слишком поздно, чтобы всколыхнуть полемику<sup>3</sup>, да и сам представлял ко времени издания скорее памятник предшествующего понимания задач исторического описания, будучи попыткой систематического свода летописных известий.

Напротив, начало издания «Истории русского народа» Полевого, собственно, и спровоцировало скандал. Если критическая статья в адрес Карамзина была, по замечанию П.Н. Милюкова, скорее подведением итогов<sup>4</sup>, а Погодин по прочтении ее записывал в дневнике: «Досадно! я первый сказал общее мнение о Карамзине. Полевой только что распространил главные мои положения, а его превозносят, между тем как меня ругали» [4, с. 334], – то появление «Истории...» перевернуло ситуацию, с одной стороны, дав возможность всем недовольным не возражать теперь на критику Полевым Карамзина, а сосредоточиться уже на критике собственной работы Полевого, а с другой – означало, что Полевой не только указывает на недостатки Карамзина, но претендует сам исправить их. В 1847 году князь П.А. Вяземский писал:

«В лучшие эпохи литературная держава переходила как будто наследственно из рук в руки. На нашем веку литературное первенство долго означилось в лице Карамзина. После него олицетворилось оно в Пушкине, а по смерти его верховное место в литературе нашей праздно... и нигде не выглядывает хотя бы литературный Пожарский, который был бы, так сказать, предтечею и поборником водворения законной власти» [8, с. 357–358].

Данную цитату мы приводим не по причине ее своеобразия, а по прямо противоположной: она выделяется разве что отчетливостью и сжатостью воспроизведения концепта «главы литературы» [6]. Тем самым притязание, заявленное Полевым, прочитывалось современниками как намерение занять место Карамзина или, скорее, отменить саму иерархию, произвести революцию если не в мире политическом, то в мире литературном<sup>5</sup>, независимо от всего прочего

<sup>1</sup> «Замечания на “Историю государства Российского” Карамзина» Н.С. Арцыбашева были опубликованы в «Московском вестнике» (1828. № 19/20 – 23/24).

<sup>2</sup> Статья Н.А. Полевого вышла в «Московском телеграфе» (1829. № 12. Июнь. Ч. XXVII).

<sup>3</sup> Первый том появился только в 1838 году [1], а последующие продолжали печататься и после смерти автора, наступившей в 1841 году. Так, третий том вышел в 1843 году, а за ним последовал и четвертый, включавший седьмую и восьмую книги труда.

<sup>4</sup> «К великой досаде Погодина, не ему привелось [...] сказать последнее слово в полемике современников об “Истории государства Российского”. Все высказанные им наблюдения были верны и метки, но оставалось свести их к одному общему аккорду, найти общий ключ к сделанной им характеристике. Эту благодарную роль взял на себя Полевой и выполнил ее со свойственным ему талантом» [14, с. 197].

<sup>5</sup> В 1830 году уже прямо по адресу «Истории русского народа» кн. П.А. Вяземский писал: «Нет сомнения, что оскорбительные суждения о творении его [то есть «Истории государства Российского» Карамзина – А.Т.], напечатанные в *Вестнике Европы* и в *Московском Вестнике*, имеющие целью поколебать уважение к заслугам, им отечеству оказанным, приготовили нынешние сатурналы литературы нашей, разразившейся появлением *Истории Русского народа*. В этом отношении г-н Полевой поступил неблагоприятно: следовало ему посвятить творение свое не Нибуру, а Каченовскому и Арцыбашеву. Они удобрили ниву, на которой он собирает жатву; они вложили в него мысль и усердие обработать ее. В политическом мире анархия ведет к деспотизму: в литературном мире ниспровержение законов изящности, анархическое своеволие есть также вступление к лжецарству невежества» [8, с. 129]; ср. известную запись из «Старой записной книжки», сделанную вскоре после похорон Полевого [7, с. 211].

еще и дерзостное со стороны журналиста, торговца, пусть и словесностью, – то есть одного из представителей «торгового», по выражению С.П. Шевырева, или, как позже назовет его В.Г. Белинский, «смирдинского» периода. Дабы показать накал страстей, процитируем не пропущенное цензурой «Литературное известие», предназначенное к помещению в петербургский журнал «Славянин», издаваемый печально известным А.Ф. Воейковым:

«г. Всезнайкин, известный своими рассуждениями о санскритском языке, и проч., и проч., и проч., намерен на сих днях приступить к изданию Российской истории – для гостиного двора, в 10-ти томах. Подписка будет вскоре приниматься на Апраксином дворе, в меняльной лавочке. Г. Всезнайкин предварительно хочет поместить в *Московском Телеграфе* или в другом подобном журнале рецензию на Карамзина, чтобы доказать ничтожество истории Карамзина и заохотить к подписке на российскую историю для гостиного двора. В сочинении сей истории участвует Ксенофонт Ничтович, известный знаток халдейского языка, преподающий теорию романтизма в заведении для умалишенных» [13, с. 493].

Вяземский в «Литературной газете» в заметке «О московских журналах» (1830) упрекал Полевого, что его «История...» есть в сущности спекуляция и проявление невежества или легкомыслия: «Обещание довести историю до нашего времени есть точно такая же раскрашенная вывеска. Кто из благоразумных людей будет ожидать у нас историю новейших времен, не говорю уже современной эпохи? Но не все же пишется для благоразумных людей. Современная история нигде не доступна, особливо же у нас. [...] Историк, который добровольно берется перефразировать *Московские Ведомости*, писать о том, о чем писать не можно, и выдавать свою книгопродавческую работу за историю, тот накидывает большое подозрение на свой исторический характер и на свою историческую добросовестность. Отказываясь верить ему в одном, трудно доверять ему и там, где он мог бы свободно излагать свое мнение. Несбыточные обещания изобличают по крайней мере неосновательность ума, если не хвастовство и не шарлатанство; но и одной неосновательности довольно, чтобы отбить веру и уважение» [8, с. 123–124]. Защищая Карамзина и по долгу родственному (как брат по отцу его жены), и по долгу дружбы многолетней, и по представлениям о надлежащей литературной иерархии, Вяземский на долгие годы принимается за борьбу с Полевым и его «Историей...» – в частности, распуская слух (поддерживаемый, например, Пушкиным), что остальных объявленных томов не появится [8, с. 148–149], и заключая в рецензии на первый том:

«Пока *История Русского народа* есть только история Русской сновки сбывать свой товар налично, когда он еще и не на лицо» [8, с. 149].

Чаще всего в обвинениях критиков звучал упрек сословный – купечество Полевого (который числился сначала купцом 2-й гильдии). Так, Арцыбашев писал Погодину, упрекая его и других москвичей за принятие издателя «Телеграфа» в число членов Общества истории и древностей Российских, что сей член оно не огражден законами российскими от телесного наказания:

«Состояние Полевого укоризна не ему, но тому ученому Обществу, которым он удостоен, безо всяких заслуг, членского звания. Купца 3-й гильдии может судебное место высечь плетьюми и – кто знает будущее? – может быть со временем высекут Полевого; следственно действительного члена почтеннейшего Общества Истории и Древностей Российских растянут на площади. Подумайте сами, приятно ли будет сие видеть или слышать о таком происшествии? Есть и крепостные люди с ученостью, лучшею нежели Полевой, так неуже-

ли же и их производить в члены ученого Общества, состоящего при Университете» [3, с. 45].

Но если негодование было широко и громко, то и в одобрении не было недостатка. Помирившийся в это время с Полевым (перед лицом «литературной аристократии») Ф.В. Булгарин поместил похвальный отзыв, в котором утверждал:

«Это первая критическая История России. Есть критические исследования об отдельных частях Истории; есть повествовательная История, но никто еще не предпринимал у нас писать Историю в духе критическо-философском. Честь первенства принадлежит г. Полевому. Взгляд у него верный. Множество заблуждений гаснет пред его критическим светильником. Кто желает знать Отечественную Историю, тот непременно должен прочесть книгу Полевого» [3, с. 45–46].

Но если этот отзыв вполне сопоставим с суждениями то ли самого Воейкова, то ли кого из сотрудников его – или, в лучшем случае, князя Вяземского, не относясь непосредственно ни к ученым достоинствам, ни к недостаткам труда Полевого, то и среди самого научного сообщества отнюдь не было единодушия. Так, многолетний приятель и клиент Погодина Ю.И. Венелин писал тому из Петербурга об общении с академиками:

«Удивительно то, что Круг и Кеппен принадлежат к приверженцам Полевого (!!!) Странно. Не понимаю. Дело, кажется, в том, что оба сии почтенные имена по несколько раз встречаются в *Истории Русского Народа* как классические. Впрочем, оба сии мужа показались мне благородных чувствований» [3, с. 44].

А.Ф. Вельтман передавал Н.А. Полевому в начале 1830 года другой лестный для автора отзыв:

«Вчера с удовольствием слышал я повторяемы слова одного ученого, умнейшего и известного человека, на счет “Истории русского народа”; а именно Николая Николаевича Муравьева; он говорит, что эта книга полна истинной философии истории и оценится Европою. Извините, что мне приятно быть эхом справедливых слов [...]» [13, с. 523].

Уже одно это дает основание предполагать, что сочинение не было совсем лишено достоинств. Прежде всего остановимся на том, за что Полевой критикует Карамзина, то есть в чем именно он видит его несовременность, непринадлежность к «нашему поколению». Полевой отмечает, что само понятие «истории» изменилось: «Нам говорят об историках и исчисляют сряду: *Иродот, Тацит, Юм, Гизо*, не чувствуя, какое различие между сими знаменитыми людьми и как ошибается тот, кто ставит рядом Иродота и Гизо, Тита Ливия и Гердера, Гиббона и Тьерри, Робертсона и Минье» [18, с. 37]. Современное понятие истории («в высшем знании») есть «практическая проверка философских понятий о мире и человеке, анализ философского синтеза. Здесь мы разумеем только *всеобщую историю*, и в ней видим мы истинное откровение прошедшего, объяснение настоящего и пророчество будущего» [18, с. 37–38]. Это «история высшая», помимо нее существуют «многообразные до бесконечности» «формы истории»: «критическая, повествовательная, ученая», но «в основании каждая из них должна быть *философская*, по духу» [18, с. 38].

Но и не могущий быть причислен к плеяде современных великих историков, из числа которых Полевой называет Нибура, Тьерри, Гизо и Баранта, «Карамзин не выдерживает сравнения и с великими историками прошедшего века, Робертсоном, Юмом, Гиббоном, ибо, имея все их недостатки, он не выкупает их тем обширным взглядом, тою глубокою изыскательностью причин и следствий,

какие видим в бессмертных творениях трех английских историков прошедшего века. Карамзин столь же далек от них по всему, как далека в умственной зрелости и деятельности просвещения Россия от Англии» [18, с. 46].

В самом заглавии труда Карамзина Полевой видит ошибку (и этим объясняется и избранное им заглавие своей книги):

«С прибытия Рюрика он начинает говорить: *мы, наше*; видит *Россиян*, думает, что любовь к отечеству требует облагорожения варваров, и в войне Олега, войне Иоанна Грозного, войне Пожарского не замечает разницы; ему кажется *достоинством гражданина образованного правило государственной нравственности, требующей уважения к предкам*<sup>1</sup>. После сего можете ли ожидать понятия, что до Иоанна III была не Россия, но Русские государства; чтобы в Олеге видел автор нордманнского варвара; в борьбе уделов отдавал равную справедливость и Олегу Черниговскому, и Владимиру Мономаху? Нет! и не найдете этого. [...] Так в Рюрике видит он монарха самодержавного, мудрого; в полудиких славянах народ славный, великий, и – даже воинские трубы Святославовых воинов Карамзин почитает доказательством *любви россиян к искусству мусикийскому!*» [18, с. 45–46].

Иными словами, «государство Российское», по мнению Полевого, предстает у Карамзина некой вневременной данностью – он описывает не его возникновение и развитие, не предысторию – а все тот же один объект, с которым случается история, но который сам внеисторичен.

Если в статье 1829 года Полевой выставляет свое понимание истории и задач историка в противовес Карамзину, то в предисловии к вышедшему в том же году первому тому «Истории русского народа» он рисует его более полно, оговариваясь: «Мысли, мною изложенные, мне кажутся справедливыми, и скрывать их для выгод мелочного авторского самолюбия, я почел бы делом недостойным. Если трудом своим я не достиг цели, какую предполагал для истории и историка, если исполнением не поддержал того, что требовал от историка в предисловии, тем хуже для меня. По крайней мере, искренность моя будет ручательством, что я искал истины, старался найти ее» [17, I, с. 25].

Прежде всего он противопоставляет старое, отжившее понимание истории новому, тому, которое в статье называл «философским»:

«С идеей человечества исчез для нас односторонний эгоизм народов; с идеей земного совершенствования мы перенесли свой идеал из прошедшего в будущее и увидели прошедшее во всей наготу его [...]» [17, I, с. 21].

Если для Карамзина история важна как моральное поучение, и столь большую роль играет нравственная оценка отдельных персонажей, осуществление посмертного суда, где роль судьи берет на себя от лица потомства историк, то для Полевого уроки истории – не отдельные события, не собрание примеров, на которых может поучаться государь или государственный муж:

«Лестница бесчисленных периодов человечества и голос веков научили нас тому, что уроки истории заключаются не в частных событиях, которые можем мы толковать и преобразовать по произволу, но в общности, целости истории, в созерцании народов и государств, как необходимых явлений каждого периода, каждого века. [...]

Историк и не судья, ибо составление обвинительных актов даст повод подозревать его в пристрастии так же, как и составление оправдательных. Он живописец, ваятель прошедшего бытия: от него

<sup>1</sup> Цитата из предисловия к «Истории государства Российского».

требует человечество только верного, точного изображения Прошедшего, для бесконечной тяжбы природы с человеком, решаемой судьбою непостижимую и вечною» [17, I, с. 21–22].

Вместе с тем история не только требует от автора быть «живописцем прошедшего бытия», но и непосредственно обращает к нему художественное требование<sup>1</sup> – тем более что история не может быть уложена в силлогизм без нарушения правил логики:

«Воодушевляя, воскрешая прошедшее, она [то есть история – А. Т.] делает его для нас настоящим, преобразуя жизнь прошедшего в слово и, таким образом, выражая совершившееся так же, как слово выражается для нас мертвыми буквами. Историк не есть учитель логики, ибо история такой силлогизм, коего вывод или третья посылка всегда остается нерешимым для настоящего, а две первые не составляют полного, целого силлогизма» [17, I, с. 22].

Если Карамзин надеялся «на сердце, еще не совсем старое», которое дало бы ему возможности «для изображения действий и характеров» [10, с. 51], то Полевой требует прямо противоположного:

«Отделим простое, сердечное участие, какое невольно принимаем мы, видя борьбу человека против судьбы и падение его в сей борьбе, от исторического созерцания дел и событий, когда мы должны глядеть бессмертными очами судьбы, не знающими слез сострадания и соучастия. Кто из нас не желал Аннибалу победы под стенами Карфагена, на полях Замских? Так невольно соболезуем мы сердцем судьбе тверских князей; будем еще сострадать бедствию рода князей суздальских, характеру и гибели Шемяки и падению Новгорода и Пскова. Но страсть – удел поэта, а не историка [...]» [17, III, с. 83]<sup>2</sup>.

К прочим недостаткам, по мнению Полевого, «присовокупляется у Карамзина [...] худо понятая любовь к отечеству. Он стыдится за предка, раскрашивает (вспомним, что он предполагал делать это еще в 1790 году); ему надобны герои, любовь к отечеству, и он не знает, что *отечество, добродетель, геройство*

<sup>1</sup> Ведь и в числе тех, кому надлежало родиться, «дабы могли мы наконец понять, что есть история? Как должно ее писать и что удовлетворяет наш век?», Полевой называет Шиллера, Цшокке, Гете, В. Скотта [18, с. 41] – и для него самого будет важно соединение опыта историка и исторического романиста: он дважды опишет события княжения Василия Темного, сначала в романе «Клятва при гробе Господнем» (1832), а затем в V томе «Истории» (1833). Отметим, что полемика с Карамзиным охватывает и эту сторону – так, например, в примечаниях к первому тому своей «Истории...» он пишет: «Что отдельные народы славянские были основание образовавшихся потом княжеств русских (например, что Киев составили поляне, Чернигов – северяне), в сем нет сомнения. Мстислав (1023 г.), поставя северян против врагов, и объезжая потом поле битвы, говорил: “Кто сему не рад? Се лежит Северянин, а не Варяг, а дружина своя цела (Кен., ст. 102)”. “Слово, недостойное доброго Князя, ибо Черниговцы, усердно пожертвовав ему жизнью, стоили, по крайней мере, сожаления”, – говорит Карамзин [Ист. Г.Р., т. II, с. 24]. Справедливо; но не лучше ли было, вместо неуместной чувствительности, извлечь более важное замечание о взаимной народной ненависти разных русских областей, основанной на различиях народов, этих древних кланов, которые ожидают своего В. Скотта?» [17, I, с. 527, примеч. 33]. Иными словами, там, где для Карамзина находится материал морального поучения, там Полевой видит художественный материал, который открывается благодаря историзму, преобразующему скучные или печальные княжеские распри в незнакомую реальность прошлого.

<sup>2</sup> В предисловии к «Истории...» Полевой вставляет язвительную похвалу историографу, отмечая «благородную смелость, с какою Карамзин защищает угнетенного несчастливца, ненавидит сильного злодея, вступает за права человека. Но этим едва ли не ограничатся все достоинства “Истории государства Российского”» [17, I, с. 31].

для нас имеют не те значения, какие имели они для варяга Святослава, жителя Новагорода в XI веке, черниговца XII века, подданного Феодора в XVII веке, имевших свои понятия, свой образ мыслей, свою особенную цель жизни и дел» [18, с. 50] – здесь Полевой формулирует тезис об историчности понятий настолько ясно, как не скоро еще удастся найти в русской исторической науке. Но ключевая его цель в данном случае – это политически «нейтрализовать» историю, добиться того, чтобы вопрос о «патриотизме» или «непатриотизме» той или иной исторической концепции не поднимался. Как напишет он в том же году уже в своей «Истории...», «в ком русская кровь не кипит сильнее при слове: Россия, в добродетели и уме того я – сомневаюсь» [17, I, с. 27], но сразу же продолжит:

«Так в настоящем, и совсем иначе в прошедшем» [17, I, с. 27], то есть в смысле понимания прошлого. Полевой утверждает:

«Нимало не почитаю историю России для нас любопытнее других потому, что Россия есть наша родина, что в ней покоится прах наших предков. Любовь к отечеству должна основываться не на сих воспоминаниях, не на детском уважении, какое внушает нам родная сторона» [17, I, с. 26–27].

Право на интерес обосновывается Полевым через самостоятельное, выдерживающее любое объективное сравнение значение русской истории – великое прошлое, не говоря уже о будущем. В «судьбе человечества» Россия участвует лишь со времен Петра I, до этого она изъята из общей истории – но история предшествующая тем не менее имеет значение всеобщее, как объяснение последующего, а «XIX век ознаменовался исполинским движением России в дела Европы: вот начало новой, нашей эпохи» [17, I, с. 522, примеч. 12]. В этой логике нам нет нужды возвеличивать, «раскрашивать» предков – история как таковая не требует оправданий и извинений, Россия не нуждается в лучшей истории, потому что не ищет в ней убежища от настоящего. Ее история интересна любому, в ком вообще есть интерес к истории:

«Нет сомнений: история России предмет огромный, достойный философа и историка. Но умели ли мы доньше почтить важность его своими трудами, обработали ли его так, чтобы нам можно было указать любопытному наблюдателю на какое-нибудь творение и сказать ему: “Читай, ты узнаешь Россию!”» [17, I, с. 28].

Полевой заранее предвидит упрек, который бросит ему, например, князь Вяземский [8, с. 148], – в неподготовленности, скороспелости труда – и, защищаясь от него, с одной стороны, рассказывает о своих многолетних занятиях историей (которые, по правде, свидетельствуют лишь о долговременном интересе к прошлому и обильном чтении, но никак не о научной подготовке), а с другой – переходит в контрнаступление, в обозрении предшествующей историографии замечая:

«С IX тома Карамзин почти отказывается от критики; X и XI тома еще слабее в историческом достоинстве; XII том собран из немногих, всем известных летописей и государственных напечатанных актов; это повествовательный рассказ, а не История, и Карамзин так писал его, что 5-я глава была еще недописана им, а начало ее, вместе с первыми 4 главами, было уже переписано и готово к печати. Когда же думал историк?» [17, I, с. 31].

Впрочем, главный недостаток Карамзин делит со всеми «писателями XVIII века» [18, с. 49], и здесь время, отведенное на обработку конкретного тома, не могло бы помочь:

«Придет по годам событие, Карамзин описывает его и думает, что исполнил долг свой, не знает или не хочет знать, что событие важное не

вырастает мгновенно, как гриб после дождя, что причины его скрываются глубоко, и взрыв означает только, что фитиль, проведенный к подкопу, догорел, а положен и зажжен был гораздо прежде. Надобно ли изобразить (ненужно, впрочем, для русской истории) подробную картину движения народов в древние времена: Карамзин ведет через сцену киммериян, скифов, гуннов, аваров, славян, как китайские тени; надобно ли описать нашествие татар: перед вами только картинное изображение Чингис-Хана; дошло ли до падения Шуйского: поляки идут в Москву, берут Смоленск, Сигизмунд не хочет дать Владислава на царство и – более ничего!» [18, с. 49].

В этом отношении Полевому было что предложить. Разумеется, он имел довольно небольшую историческую подготовку, но был весьма начитан и в отечественной истории, и в истории европейской, хорошо знаком с новыми историческими трудами и понимал их смысл, сознавал новое движение исторической мысли. Потому он оказался способен под новым углом взглянуть на собранный и первоначально обработанный другими исторический материал<sup>1</sup> – предложить ту самую связь событий, свой взгляд на истоки действий, описание которых дает Карамзин. Вместо «государства Российского» и описания всех тех, кому со времен древних греков довелось существовать или бывать около его европейских пределов, Полевой начинает с «призвания варягов», ставя его в один ряд с современными походами викингов на запад и юг, и рисует картину первоначальных владений, связанных целями грабительскими и торговыми во времена, когда они, собственно, различались лишь по возможностям. Первоначальные княжества – опорные пункты, власть князя нельзя представлять себе как власть над определенной территорией, она существует в городах и убывает за их пределами, растворяясь в пространстве, а власть здесь есть собственно возможность собирать дань. Раннюю стадию он именуется «феодализмом варяжским», при Владимире переходящим в «систему уделов», «феодализм семейственный», когда все другие варяжские владения, независимые княжества, были уничтожены. Полемизируя с Карамзиным, он пишет: «[...] единовластие не могло с тех времен установиться в Руси: оно было еще слишком ново для русского государства, и при том система политического быта должна была испытать еще одну необходимую степень, составляющую переход от феодализма к монархии: систему уделов, обладаемых членами одного семейства, под властью старшего в роде – феодализм семейный» [17, I, с. 197] – и продолжает в примечании:

«Должно [...] понять различие власти, и различие отношений между повелевавшими и повиновавшимися, в древнем и новом мире. Латинское слово: Res publica, превратившееся в наименование особенного образа правления, известного древним, точно обозначает сей образ правления; так же как изменение значения греческих слов: деспот, тиран (вначале означавших просто звание государей – деспот, тиран, а потом злоупотребление власти), другой образ правления, древним известного. Феодализм везде переходил в систему Уделов, где только монархия могла побеждать его. Сей порядок казался так естественным, был столь необходим в самом деле, что обвинение Владимира и Ярослава в политической ошибке оказывается вовсе не справедливым, при малейшем соображении. *Любопытно видеть, как ошибался в этом отноше-*

<sup>1</sup> «По моему мнению, донныне столько уже приготовлено материалов для Русской Истории собственно, мы уже столько знакомы с современными, верными идеями об истории вообще, что можем отважиться писать нашу историю так, чтобы сущностью, порядком идей, воззрением на дела, она могла быть достойна внимания людей просвещенных [17, I, с. 32–33].



нии Карамзин (*ошибки человека с умом необыкновенным поучительны*) [курсив наш – А.Т.]. Он то утверждает, что князья русские были единовластны, то отвергает сие; то приписывает уделы духу времени (“следуя несчастному обыкновению сих времен, Владимир разделил государство”, см. Ист. Г.Р., т. 1, с. 220), то относит их чисто к любви родительской (“здравая политика, основанная на опытах и знании сердца человеческого, не могла противиться действию слепой любви родительской”, говорит о Ярославе, Ист. Г.Р., т. II, с. 27). Можно бы выставить десятки подобных, одно другому противоречащих мест, показывающих, что Карамзин, писавши *Историю России*, не составил себе предварительно ясного понятия о государственном строе Древней Руси [курсив наш – А.Т.] [17, I, с. 525–526, примеч. 29].

Обрисовывая «систему уделов», Полевой уже довольно близко подходит к последующей «родовой теории» – видя в княжеских распрях и спорах за великокняжеский стол не пустые раздоры, а проявление определенной логики. В этом плане закономерно, что его наибольший интерес вызывает княжение Василия Темного – в этом времени он видит последнюю эпоху удельных порядков и наступление времени «Русского государства». Во временах от Дмитрия Донского до Василия Темного он берет материал и для романа «Клятва при гробе Господнем» [20], и для «Повестей Ивана Гудошника» [19] – видя здесь трагическую коллизию, столкновение двух правд – прежнего, удельного старшинства и верности своему князю, и нового государственного порядка.

Собственно, учитывая магистральный сюжет Полевого, именно его истории следовало бы называться «Историей государства Российского», поскольку он занят именно происхождением и развитием государства, ставшего в итоге Российской империей – потому его, в отличие от многих других современников, занятых разработкой истории, мало интересуют сюжеты, связанные с судьбой, например, Западной Руси – точнее, интересует ровно в той степени, в какой их знание необходимо для понимания формирования русского государства, как необходимо для этого знание истории Золотой Орды или Византии. Историзм позволяет ему не держать в уме воображаемую карту современной империи или какого-то конкретного последующего исторического этапа – история не оказывается историей в границах, еще не существующих в то время, которым только предстоит возникнуть.

Впрочем, все это не отменяло многочисленных недостатков «Истории...» Полевого. Начиная со слога и вплоть до полной приблизительности плана изложения вся работа носит следы торопливости, журнального письма. Белинский в написанной после смерти Полевого, прекратившей, наконец, их многолетнюю распрю брошюре воздавал покойному должное:

«Он был рожден на то, чтоб быть журналистом, и был им по призванию, а не по случаю. [...] Верен был он себе и в своей “Истории русского народа”: как и во всем, что ни написал он, и в ней был он журналистом, а не историком. В этом ее слабая сторона, но в этом и ее относительные достоинства» [5, с. 682, 695].

Брат Полевого, Ксенофонт, вспоминал: «[...] Н.А. не был способен посвятить много лет для одного занятия» [16, с. 80], но он и не всегда был способен рассчитать свои силы. Ксенофонт Полевой рассказывал, что брат «сначала предполагал, – и я убедительно советовал ему – написать русскую историю не подробную, а в виде очерка, в размере трех-четырех томов. Но когда он начал свое сочинение, то каждое событие, почти каждая подробность увлекали его, и он старался объяснить все, дать отчет во всем» [16, с. 286]. О движении замысла рассказывал и сам Полевой в предисловии:

«Меня занимала мысль написать подробную Историю России за три последние века (XVII, XVIII, XIX). [...] я изменил план своей работы, распространил его, и – издаю полную Историю русского народа, с самого начала его до наших дней» [17, I, с. 33].

Таким образом, как говорил Полевой, начав «систематическое сочинение о Русской Истории» с 1825 года [17, I, с. 33], он сначала думал ограничиться последними веками, то есть выступить в роли продолжателя, а не ниспровергателя Карамзина, начать там, где тот остановился [см. другие замыслы: 16, с. 285]. Вообще интерес его был преимущественно обращен к новой истории России – об этом он писал много и охотно, переиздал «Деяния Петра Великого» Голикова (своего родственника по материнской линии), надеялся получить официальное соизволение и допуск в архивы для работы над «Историей Петра» (вполне, впрочем, неудачно), написал уже в 1840-х биографию Суворова и историю Наполеона. Скепсис князя Вяземского о возможности современной истории проистекал из разного представления о том, чем может быть эта история, и готовности Полевого во многом довольствоваться «перифразом *Московских Ведомостей*».

Однако те, кто сомневался в серьезности отношения Полевого к предпринятой им «Истории...», заблуждались – по меньшей мере сам он относился к ней настолько серьезно, насколько это было возможно при его характере и его представлении об историописании. В 1829–1830 годах вышли в свет три первых тома «Истории...», затем наступил продолжительный перерыв (давший основание обвинять Полевого в обмане читателей – поскольку на сочинение принималась подписка), но в 1833 году вышли еще три тома. В «Литературной летописи» «Библиотеки для чтения» незадолго до разразившейся над Полевым катастрофы, смявшей его планы и намерения<sup>1</sup>, появилось объявление о продолжении работы над «Историей...»:

<sup>1</sup> Напомним, что после публикации отрицательной рецензии на Высочайше одобренную пьесу Н. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла» (1834) Полевой был доставлен в Петербург в III Отделение, допрашиваем начальником III Отделения графом Бенкендорфом и министром народного просвещения С.С. Уваровым и затем отправлен тем же путем в Москву – куда вслед за ним последовало и принятое Высочайшее решение о запрещении «Московского телеграфа». В силу серьезного расстройств дел и обремененностью долгами, такое решение стало для Полевого ударом. Но после того как в 1837 году он перебрался в Петербург и принял на себя редакцию «Сына Отечества» и соредакцию «Северной пчелы», выяснилось, что ему запрещено помещать свое имя на редактируемых им журналах, то есть решением Министерства народного просвещения он был лишен значительной части своего капитала – своего имени, много стоившего в глазах публики. Банкротство Смирдина, в делах которого Полевой принимал после 1834 года все более тесное участие, сделало его положение воистину отчаянным.

В числе поводов, послуживших к закрытию «Московского телеграфа», некоторую роль играла и «История...». Так, знакомый Полевого ярославский священник Диев в связи с закрытием журнала записывает: «Невольно припомнишь слова Ивана Михайловича [Снегирева – цензора, бывшего в довольно приятельских отношениях с Полевым, три письма последнего к нему опубликованы: 13, с. 523–527. – А. Т.], помещенные в письме его ко мне от 10 августа 1833 года: “В сентябре будет суд всем журналам, кои в Европе сделались. Если замечены будут с другой стороны, то издавать запретятся. Особый наряжен комитет для этого. Дай бог к добру! По пословицам: “дружба – дружбой, служба – службой” и “правда светлее солнца”. Полевой далеко увлекся духом вольного запада. В истории русского народа, соблазнительной по самому названию, есть статьи, кое нельзя читать без негодования, например о Владимире Мономахе, о сражении Невского при Неве со шведами, страданиях князя Михаила Черниговского, отзыв о Шемяке [...] Не говорю о надутых, как водяные пузыри, порицаниях, почти везде без приличия раскинутых, против истории бессмертного историографа Карамзина, против коего критика Полевого подобна кваканью лягушек, мечтающих, что от их крика громадная страмида рассыплется» [23, с. 584]. В тетради выписок из изданий Полевого, составленной б. Бруновым и поданной Уваровым как обвинительный акт против Полевого, изрядное место было отведено «Истории...» [24, с. 418, 425–428].

«Я продолжаю неусыпно труды свои: не знаю однако же, успею ли в нынешнем году издать осьмой том моей “Истории русского народа”, хотя пятый уже совсем отпечатан, шестой печатается, седьмой приготовлен к печати. Чем далее иду по пути истории отечественной, тем безмернее является мне поприще ее. Я давно известил публику, и вы, конечно, читали мое объявление, что, вместо 12 обширных томов, труд мой уже распространился на четырнадцать томов, а между тем, благодаря содействию многих почтенных любителей русской истории, объем материалов у меня беспрерывно увеличивается... Статья, ныне посылаемая мною для *Библиотеки для Чтения* о принятии Михаилом царственного престола и короновании его в Москве, – есть отрывок из VIII тома “Истории русского народа”, и том этот начинается с освобождения Москвы Мининым и Пожарским и заключается 1645 годом, кончиною царя Михаила Федоровича. Здесь началось для меня поприще, еще никем доньше не обработанное. Доньше не имели мы ни одного описания событий после 1611 года, где остановился Карамзин. События с 1611 до 1645 года занимают в “Дополнениях” Голикова 221 страницу; в сочинении В.Н. Берха 263 страницы; в истории С.Н. Глинки 108 страниц. Самый объем их творений показывает, что все это краткие повествования, а других, кроме сих трех, исключая учебные книги, у нас вовсе нет... Счастливым себя почту, если Провидение позволит мне издать первый опыт полной истории благословенного дома Романовых, и если из приложенного здесь отрывка читатели ваши заключат, что труд мой не совсем лишен достоинств исторического повествования» [13, с. 505–506].

Все последующие его годы прошли в упорной борьбе за выживание своего семейства – потому ни о каких больших планах, не дающих немедленной отдачи, он уже не мог задумываться. Тем более примечательно, что мысль об «Истории...» не оставляет его. Так, в дневнике за 1838 год есть следующая запись:

«30-го [июля]. Суббота, вышел “С[ын] О[тчества]” за июль. Давно не было такого грустного дня: я прочитал письмо Семена; сообразил дела; стал писать письма; отчаяние овладело мною; я изорвал письмо к брату, так было оно тяжело... Грусть и тоска... Наташа повезла письма на почту, а я остался. Но тут – не был ли это благодетельный перелом? Сообразив, что если бы я двинул всякую всячину, то много бы поправил, и решился приняться за работу... Боже! Укрепи меня. Даруй помощь твою!! – Вечером перебрал бумаги, отыскивал, находил до 2-го часа... Пушу даже и “Историю русского народа”» [21, с. 666].

На следующий день: «Пересмотрел “Историю Русского Народа”, том VII-й. Пушу!» [21, с. 666]. И, действительно, 9 августа того же года Полевой записывает, что отвез VII том «Истории...» в цензуру [21, с. 667<sup>1</sup>]. О том, почему именно очередной том не вышел, сохранившиеся бумаги не дают известий, однако и в 1843 году, дневник за который частично был опубликован сыном, П.Н. Полевым, Полевой вновь обращается к «Истории...» [22, с. 167, 169, 171] – на сей раз как к источнику для составления «Русской истории для юношества», которую «обязался написать для своего брата Ксенофонта» [22, с. 165], и одновременно думает продолжить большую «Историю...», чем делится с братом в письме от 4 июля 1843 года:

«Усилия труда сделали то, что механизм работы для меня не существует... вся беда, что руки только две, и необходимо человеку по несколько часов спать и все-таки отдых необходим, и телесный,

<sup>1</sup> О том же извещал Полевой брата Ксенофонта в письмо от 15 августа 1838 года [16, с. 439].

и душевный. Последний составляет у меня чтение – я читаю теперь бездну старого и нового и более старого, приготавливая так, чтобы тотчас по окончании прежней работы приняться за VII том “Истории русского народа”, отделать его и VIII том, и печатать их. Мне надо много припомнить старого и перечитать нового. После издания VI тома прошло – *десять лет, и каких!* Боже Всемогущий! Волосы дыбом на голове, когда подумаю! *Десять лет!*» [16, с. 560–561].

Один из довольно близких к Полевому и вхожих в его семью людей в написанном вскоре после смерти журналиста мемуарном очерке рассказывал, что по получении в последние месяцы жизни от Государя пенсионера, вдохнувшего новые надежды, «он имел в виду проработать еще три года, работать неумолимо, издавать журнал, которому он даже хотел дать новый формат, и явиться снова на литературном поприще тем же беспристрастным судьей и потом, выплатив долги, окончить издание “Русской истории”, остановившейся точно также, по не зависящим от покойника обстоятельствам; окончить издание “Русской истории” он всегда почитал священным долгом» [13, с. 538]. Видимо, рукописи VII и VIII томов можно считать окончательно пропавшими, по крайней мере П.Н. Полевой, приложивший много усилий для разыскания сохранившихся бумаг и писем отца, по поводу VII тома писал: «Никаких следов этого тома до сих пор нельзя было отыскать» [21, с. 667, примеч. 1].

## Литература

1. *Арцыбашев Н.С.* Повествование о России. М.: Университетская тип., 1838. Т. I.
2. *Барсуков Н.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1892. Кн. V.
3. *Барсуков Н.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1890. Кн. III.
4. *Барсуков Н.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1889. Кн. II.
5. *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. IX: Статьи и рецензии: 1845–1846.
6. *Вдовин А.В.* Концепт «главы литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. Тарту: Tartu University Press, 2011.
7. *Вяземский П.А., кн.* Полн. собр. соч. князя П.А. Вяземского. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1884. Т. XI: Старая записная книжка: 1813–1852 гг.
8. *Вяземский П.А., кн.* Полн. собр. соч. князя П.А. Вяземского. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. Т. II: Литературные, критические и биографические очерки: 1827–1851 гг.
9. *Карамзин Н.М.* Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву / Примеч. и указ. Я. Грота и П. Пекарского. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1866.
10. *Карамзин Н.М.* Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому и письма Грибоедова к Степану Никитичу Бегичеву / Под ред. М.Н. Лонгинова. М.: Тип. Бахметева, 1860.
11. *Козлов В.П.* «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках современников. М.: Наука, 1989.
12. *Козлов В.П.* Колумбы российских древностей. М.: Наука, 1984.
13. *Козмин Н.К.* Очерки из истории русского романтизма. Н.А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1903.
14. *Миллюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. М.: Типолиитография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1897. Т. I.
15. *Погодин М.П.* Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина: в 2 ч. Ч. II. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1866.
16. *Полевой Кс. А.* Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1888.
17. *Полевой Н.А.* История русского народа: в 3 т. М.: Вече, 1997.
18. *Полевой Н.А., Полевой Кс. А.* Литературная критика: Статьи, рецензии 1825–1842 / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. В. Березиной, И. Сухих. Л.: Художественная литература, 1990.
19. *Полевой Н.А.* Повести Ивана Гудошника. СПб.: Тип. Бородина, 1843. Ч. I.
20. *Полевой Н.А.* Клятва при гробе Господнем: Русская быль XV века: в 4 ч. М.: Университетская типография, 1832.
21. *Полевой П.Н.* Дневник Н.А. Полевого (1838–1845) // Исторический вестник. 1888. Т. XXXI. С. 654–674.

22. *Полевой П.Н.* Дневник Н.А. Полевого (1838–1845) // Исторический вестник. 1888. Т. XXXII. С. 163–183.
23. *Сергеев М.Д.* Иркутский отец «Московского телеграфа» // *Полевой Н.А.* Мешок с золотом: Повести, рассказы, очерки / Сост., примеч., послесл. М.Д. Сергеева. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1991. С. 559–607.
24. *Сухомлинов М.И.* Исследования и статьи по русской литературе и просвещению: в 2 т. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1889. Т. II.

*Аннотация.* «История русского народа» Н.А. Полевого с момента своего появления вызвала скандал – и этот шлейф на протяжении десятилетий продолжал следовать ей. Данный текст справедливо воспринимался современниками как вызов, брошенный «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, – попытка перейти от критики воззрений последнего к положительному изложению своих собственных, предложить альтернативу быстро становившемуся каноническим текстом. В статье рассматриваются основные возражения Н.А. Полевого в адрес «Истории...» Н.М. Карамзина и дается краткая характеристика исторических воззрений Н.А. Полевого, активно используется эпистолярный материал.

*Ключевые слова:* историзм, Н.М. Карамзин, Н.А. Полевой, русская журналистика 1830-х годов, схема русской истории.

Andrey Teslya, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy and Culture, Pacific State University, Khabarovsk. E-mail: [mestr81@gmail.com](mailto:mestr81@gmail.com)

#### **“Russian People” and “Russian State”: N.A. Polevoy vs N.M. Karamzin**

*Abstract.* “The History of Russian People” by N.A. Polevoy provoked real scandal when first published, and its consequences accompanied it for many decades to follow. This work was rightly interpreted by the contemporaries as a challenge to “The History of Russian State” by N.M. Karamzin, - an attempt to get to positive declaration of his own views instead of criticizing those of his opponent and to offer an alternative to the rapidly turning into a canonic text. The article analyses the main objections of N.A. Polevoy to Karamzin’s “History of Russian State” and gives a concise assessment of Polevoy’s historical views, actively using epistolary materials.

*Keywords:* Historicism, N.M. Karamzin, N.A. Polevoy, Russian Journalism in 1830ies, Russian History Outline.

## **Конституция старого народа**

### Историко-политическая концепция Карамзина

История человеческой мысли знает не так уж много примеров столь разительной перемены взглядов, как та, которую пережил Н.М. Карамзин между 1791 годом, когда вышли «Письма русского путешественника», и 1811 годом, когда в Путевом дворце в Твери историк прочел великой княгине Екатерине Павловне записку «О древней и новой России» и та передала ее императору.

«Все жалкие иеремиады об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиогномии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом высшем состоянии, – для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек!» [4, с. 417–418].

«Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях... Должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде?.. Некогда называли мы всех иных европейцев *неверными*, теперь называем *братьями*; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию – *неверным* или *братьям*? т.е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России» [7, с. 388–389].

Трудно поверить, что две эти чеканные мировоззренческие формулировки вышли из-под пера одного и того же человека. Карамзин-историк поклонился тому, что сжигал Карамзин – литератор и путешественник.

*Холмогоров Егор Станиславович*, публицист, главный редактор интернет-журналов «Русский обозреватель» и «Новые хроники». E-mail: holmogorow@yandex.ru

Насмешки над «брадатými предками» высказаны при описании посещения Французской академии в своеобразном споре с автором французской «Истории России» Пьером Шарлем Левеком, критиковавшим Петра Великого за подражание другим народам и полагавшим, что русские стали бы теми же, кто они есть, даже если бы Петр не царствовал. Парадокс – в этом споре француз-просвещенец отстаивает протославянофильские позиции, в то время как молодой русский бравирует самым поверхностным космополитизмом.

Так что же превратило литератора, который въехал в Париж с трехцветной кокардой на шляпе и который, по мнению возмущенного масона М.И. Багрянского, «обо всем что касается отечества говорит с презрением и несправедливостью поистине возмутительной, обо всем что касается чужих стран говорит с вдохновением»<sup>1</sup>, в автора манифеста русского консерватизма, защитника старинных обычаев и решительного критика Петра и его преобразования русского облика?

Тем идейным рычагом, который перевернул мир Карамзина, стала русская история. Уже в полемике с Левеком Карамзин высказывает сожаление, что у нас пока нет складно написанной русской истории, которая внушила бы уважение к русскому прошлому не только русскому, но и иностранцу.

«Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы! Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословная князей, их ссоры, междоусобие, набеги половцев не очень любопытны, – соглашаюсь; но зачем наполнять ими целые томы? Что неважно, то сократить, как сделал Юм в «Английской истории», но все черты, которые означают свойство народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий: Владимир – свой Лудовик XI: царь Иоанн – свой Кромвель: Годунов – и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микель-Анджело» [4, с. 415–416].

Мы чувствуем здесь амбицию молодого литератора, желающего прославиться сочинением истории Отечества. Однако подход Карамзина к ее содержанию – подход литератора-космополита. Он стремится разукрасить интересные страницы, выискать аналогии с европейскими героями и злодеями, мало того – готов *сокращать* всё то, что оказывается скучным.

Молодой Карамзин уподобляет историописание рисованию. Русская история кажется ему достойной оригинальной *картины* (что отличает даже молодого Карамзина от исторического нигилизма в духе первого философического письма Чаадаева), но не представляет, на его взгляд, оригинального *предмета*. По сути это та же европейская история только с другими именами. Самое небывалое явление в ней Петр Великий – именно потому, что мощным движени-

<sup>1</sup> Tout ce qui regarde la patrie, est dit avec mépris et une injustice vraiment criante. Tout ce qui regarde les pays étrangers y est dit avec extase (М.И. Багрянский – А.М. Кутузову. Москва. 29 января 1791 года [2, с. 86]).

ем сблизил русский исторический поток со всеевропейским, отрекся от нравов «брадатых предков».

Проходит совсем немного времени и в предисловии к повести «Наталья – боярская дочь» Карамзин оценивает брадатую старину совершенно иначе.

«Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского» [7, с. 27].

Карамзин как писатель открывает для себя, что именно национальное своеобразие – залог поэтичности, что «славяне» интереснее «людей», что русские имели значение и образ именно когда были русскими. Карамзин начинает ценить оригинальность русской истории, даже если она пока ограничивается для него «дизайном».

1790-е и начало 1800-х – время выработки патриотического и исторического мировоззрения Карамзина. Оно окончательно оформляется в статье «О любви к отечеству и народной гордости», где писатель дает связную и цельную, хотя и лаконичную схему своего видения русской истории, вытекающую из чеканной формулы: «русский должен по крайней мере знать цену свою». Первый карамзинский эскиз русской истории – образ славы и побед. Перед нами краткая и радостная история успеха. «Слава была колыбелию народа русского, а победа вестницею бытия его. Римская империя узнала, что есть славяне, ибо они пришли и разбили ее легионы. Историки византийские говорят о наших предках как о чудесных людях, которым ничто не могло противиться...» [7, с. 252].

Однако и в этот период восприятие Карамзиным русской истории остается художественным. Он видит свою задачу в том, чтобы красиво изобразить, надлежащим образом расставить акценты в русском прошлом. Слово «летопись» для него означает еще рассказ о прошлом, а не конкретный пергаменный документ, лежащий перед ним на столе.

«Я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем» – это слова из открытого письма опубликованного в «Вестнике Европы» в 1802 году. «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» [5, с. 189]. Оно представляет собой перечень картин, своего рода идеальных «икон» русской истории, которые Карамзин рекомендует Академии художеств, введшей по инициативе графа Строганова в свой устав задание художникам изображать «того из великих мужей российских, который заслуживает честь сию предпочтительно, или такого знаменитого происшествия, которое имело влияние на благо государства» [5, с. 540].

Призвание варягов; Олег в Царьграде и Олегова смерть; княгиня Ольга; подвиги Святослава; крещение Владимира; попытка мести Рогнеды; подвиг Яна Усмошвеца; месть Ярослава за Бориса и Глеба и его просветительные труды; брак Анны Ярославны с королем Франции; основание Москвы. Как видим, Карамзин упоминает только события древнейшего периода, преимущественно почерпнутые из «Несторовой летописи». Единственное исключение он делает для призыва установить монумент героям одоления Смуты: «В Нижнем Новгороде глаза мои ищут статуи Минина, который, положив одну руку на сердце, указывает другую на Московскую дорогу» [5, с. 197]. Призыв этот вскоре был услышан и воплощен с гораздо большей основательностью.



Как видим, и спустя одиннадцать лет после «Писем русского путешественника» в сознании Карамзина господствует представление о русской истории как красочной картине, но только побудительным желанием написать ее является уже не сравнение с историей Европы, а патриотическое стремление оставить русскому гражданскому обществу ряд мемориалов – в слове, живописи и бронзе.

Карамзин мечтает заниматься русской историей, однако по-прежнему мыслит это дело как возможность «сочинять русскую историю, которая с некоторого времени занимает всю мою душу» [цит. по: 1, с. 516].

31 октября 1803 года Карамзин высочайшим повелением назначен историографом с окладом две тысячи рублей, а главное – правом «читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от святейшего Синода зависящих, древние рукописи, до российских древностей касающихся». Карамзин порывает с литературой и публицистикой, уходит в подполье, публика обеих столиц почитает его почти за умершего.

Вместо того чтобы *сочинять* историю, он берется ее *изучать* и проявляет в этом исключительное упорство и усидчивость, совершенно не ожидаемые публикой от модного литератора. Счастьем и самого Карамзина, и русской истории стало его исключительное трудолюбие.

Карамзин становится источниковедом – археографом, палеографом, лингвистом, историческим географом, текстологом. В дружном коллективе «колумбов российских древностей» – Н.П. Румянцев, А.Н. Мусин-Пушкин, П.М. Строев, А.Ф. Малиновский – Карамзин становится тем локомотивом, который задает направление и смысл архивных поисков. Так найдены Ипатьевская и Троицкая летописи, «Судебник» Ивана Грозного, «Хождение» игумена Даниила в Святую Землю и «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Моление Даниила Заточника».

Открывшийся, как Америка, дивный мир подлинных русских древностей отбивает у Карамзина охоту «раскрашивать» и «сокращать». Его новым наслаждением становится удовольствие от подлинности. Его художественным методом – отказ от вымыслов, домислов и той самой картинности, к которой он стремился в предыдущее десятилетие. Карамзин как ребенок радуется находению Ипатьевской летописи, несмотря на то, что ему приходится теперь переписывать огромную часть своего труда: «Я не спал несколько ночей от радости. <...> Она спасла [меня] от стыда, но стоила шести месяцев работы...» [цит. по: 10, с. 60].

В письме брату от 6 июля 1808 года следует новая декларация, столь противоположная былым парижским мечтам: «В труде моем бреду шаг за шагом, и теперь, описав ужасное нашествие татар, перешел в четвертый-на-десять век. Хотелось бы мне до возвращения в Москву добраться до времен Димитрия, победителя Мамаева. Иду голою степью; но от времени до времени удается мне находить и места живописные. История не роман; ложь всегда может быть красива, а истина в простом своем одеянии нравится только некоторым умам открытым и зрелым. Если Бог даст, то добрые россияне скажут спасибо или мне, или моему праху» [цит. по: 10, с. 60].

Сравнение первых веков русской истории с «пустыней», с «сушью» постоянно встречается в переписке Карамзина и показывает, насколько непросто давалось художнику смирение перед историей. Пушкину в его разгромном ответе Полевому на нападки того на «Историю» чудится в Карамзине нечто иноческое. Изысканный беллетрист, стяжавший простоту и смирение древних летописцев, вызывает изумление.

И вот уже в предисловии к изданию своего труда Карамзин читает своеобразную нотацию тому мальчишке, который намеревался раскрашивать и сокращать историю, как книжку с картинками:

«История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные...

Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе Государства, представить важные, достопамятнейшие черты древности в искусной картине и начать обстоятельное повествование с Иоаннова времени, или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире: он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц, вместо многих книг, трудных для Автора, утомительных для Читателя. Но сии обозрения, сии картины не заменяют летописей...

Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней Истории; но добрые Россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?..

Здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил Деписание от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зеркалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных Героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе Писателя, не удовольствию Читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы...

Тем непозволительнее Историк, для выгод его дарования, обманывать добросовестных Читателей, мыслить и говорить за Героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого» [4, с. 16–18].

От раскрашивания картин и сокращения скучных страниц к диктату подлинности, к предпочтению меди факта золоту вымысла – таков путь исторической аскезы Карамзина. Записку «О древней и новой России» невозможно понять, если не учитывать этого опыта. Более того, записка представляет собой политическое резюме исторической аскезы, включает в себе призыв к императору следовать в политике тем принципам, которые трудом и душевной мукой выработал для себя Карамзин применительно к истории.

Смысловой центр записки – формула: «*Старому народу не нужны новых законов*». Карамзин уговаривает императора отказаться от «раскрашивания» России, от сокращения ее скучных реальностей ради почерпнутых в Европе фантазий. Тысяча лет истории накладывает жесточайшую узду на фантазирование и политическое прожектерство. «Для того ли существует Россия, как сильное государство, около тысячи лет? Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного Уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6-ю или 7-ю экс-адвокатами и экс-якобинцами?» [7, с. 423].

Внимательное чтение обращенных к императору Александру I документов – записки «О древней и новой России» и «Мнения русского гражданина» – показывает, насколько несправедлив и пристрастен был Пушкин с его эпиграм-

мой: «В его “Истории” изящность, простота / Доказывают нам, без всякого пристрастия, / Необходимость самовластия / И прелести кнута». «История» Карамзина и базирующиеся на выводах из нее политические сочинения историографа посвящены, в сущности, одной теме – теме *ограничения самовластия* государей, теме пределов власти, теме непригодности кнута как инструмента принуждения подданных к принятию того, с чем не согласна их совесть.

Отличие консерватора Карамзина от «либералистов»<sup>1</sup> в том, что он видит принцип этого ограничения самовластия, эту своеобразную русскую конституцию не в вывезенных из Европы фантастических учреждениях, а в самой русской истории. Старость народа, выраженность его исторической судьбы, весомость исторического факта, ясность нравственного состояния народа, когда он постиг собственные исторические начала, все это яснейшее и очевиднейшее ограничение любого деспотизма и произвола. Самодержец может преступить через людскую волю и закон, поскольку он выше воли и закона, но он не может без чудовищных последствий переступить через русскую историю и народную совесть, этой историей выработанную.

*Русская история для Карамзина и есть единственная истинная конституция.*

С наибольшей ясностью, угловатостью, даже в чем-то дерзостью этот «исторический конституционализм» Карамзина проявляется в «Мнении русского гражданина», оппонирующем планам подстрекаемого Чарторыйским императора восстановить Польшу в границах до раздела 1772 года. Характерно уже заглавие – «гражданина», а не «верноподданного». В этом документе Карамзин увещевает, убеждает и даже угрожает и сам признается в записках детям в своей уверенности, что это обращение приведет к разрыву его отношений с императором (чего, впрочем, не случилось).

Территориальная целостность державы, формировавшейся тысячелетие, – *выше* воли отдельного монарха. Сохранение целостности государства – неотъемлемая монаршая обязанность. Что досталось в наследство от предков, должно быть передано потомкам в целостности. Пришедшее из истории, состоявшееся в истории – нерушимо и свято.

«Можете ли с мирною совестью отнять у нас Белорусию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся ли Государи блюсти целостность своих Держав? Сии земли уже были Россиею, когда Митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы Сами назвали Великою. Скажут ли, что Она беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали заглазить Ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечем: вот наше право, коему все Государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний. Екатерина ответствует Богу, ответствует Истории за свое дело; но оно сделано, и для Вас уже свято: для Вас Польша есть законное Российское владение. Старых крепостей нет в Политике: иначе мы должныствовали бы восстановить и Казанское, Астраханское Царство, Новгородскую Республику, Великое Княжество Рязанское, и так далее. К тому же и по старым крепостям Белорусия, Волыния, Подолия, вместе с Галициею, были некогда коренным достоянием России. Если Вы отдадите их, то у Вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литве. Или все, или ничего. Доселе нашим государственным правилом было: ни пяди, ни врагу, ни другу! Наполеон мог завоевать Россию; но Вы, хотя и

<sup>1</sup> Термин из «Мыслей об истинной свободе» [7, с. 443].

Самодержец, не могли договором уступить ему ни одной хижины Русской. Таков наш характер и дух государственный» [7, с. 437].

Дух истории говорит через народную совесть. Говорит даже тогда, когда она молчит. Эта тема молчаливого безгласного неприятия, которое на большой исторической дистанции страшнее громких парламентских и площадных криков, – сквозная у Карамзина – в итоге спрессуется у Пушкина в гениальную ремарку: «Народ безмолвствует», вне карамзинского контекста совершенно непонятную.

«Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобите ли Россию бездушной, бессловесной собственности? Будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими, кого за благо рассудите? Россия, Государь, безмолвна перед Вами; но если бы восстановилась древняя Польша (чего Боже сохрани!) и произвела некогда Историка достойного, искреннего, беспристрастного, то он, Государь, осудил бы Ваше великодушие, как вредное для Вашего истинного Отечества, доброй, сильной России. Сей Историк сказал бы совсем не то, что могут теперь говорить Вам Поляки; извиняем их, но Вас бы мы, Русские, не извинили, если бы Вы для их рукоплескания ввергнули нас в отчаяние» [7, с. 437].

Меньше чем к кому-либо из живших на земле историков к Карамзину относится несправедливая фраза про «прелести кнута». Карамзин, наряду со служившим ему образцом для подражания Тацитом, – один из самых враждебных к тирании историков. Он не готов оправдать жестокости, преступления и самодурство никаким «объективно прогрессивным смыслом». Отсюда его пристрастность и даже порой несправедливость как к Ивану Грозному, так и к Павлу I, из которых он создал образ своего рода двуглавого тирана. Читая характеристику пережитого самим Карамзиным павловского правления в записке «О древней и новой России», трудно отделаться от мысли, что именно здесь он черпал вдохновение для мрачных страниц, посвященных опричнине.

Консерватизм Карамзина проявляется не в оправдании тиранства, а в неприятии революционных и либеральных методов его предотвращения. Он посвящает очень болезненные для императора Александра Павловича строки разбору недопустимости дворцовых переворотов как средства против тирании. А ведь тиранизм Павла был для Александра единственным самооправданием в косвенном участии в отцеубийстве. Тирания, на взгляд Карамзина, явление настолько редкое в русской истории, что дешевле будет перетерпеть ее как стихийное бедствие, нежели предаваться тираноубийству, рискуя сотрясением всего государства и падением народного уважения к власти.

«Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для Монархий, что закон должен располагать тронем, а Бог, один Бог, жизнь Царей. Кто верит Провидению, да видит в злом Самодержце бич гнева Небесного! Снесем его, как бурю, землетрясение, язву, – феномены страшные, но редкие, ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов; ибо тиранство предполагает необыкновенное ослепление ума в Государе, коего действительное счастье неразлучно с народным, с правосудием и с любовью к добру. Заговоры да устрашают народ для спокойствия Государей! Да устрашают и Государей для спокойствия народов. Две причины способствуют заговорам: общая ненависть или общее неуважение к Властителю. Бирон и Павел были жертвою ненависти, Правительница Анна и Петр III – жертвою неуважения. Миних, Лесток и другие не дерзнули бы на дело, противное совести, чести и всем уставам Государственным, если бы сверженные ими властители пользовались уважением и любовью Россиян» [7, с. 396–397].

Дальше следует центральное для политической философии Карамзина рассуждение, которое достойно максимально полного цитирования:

«Одни хотели, чтоб Александр к вечной славе своей взял меры для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе, другие, сомневаясь в надежном успехе такого предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатеринина Царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла. В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной Царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: “Можно; надобно только поставить закон еще выше Государя”. Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые Государем или Государством? В первом случае они угодники Царя, во втором – захотят спорить с ним о власти; вижу Аристократию, а не Монархию. Далее: что сделают Сенаторы, когда Монарх нарушит устав? Представят о том его Величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ? Всякое доброе Русское сердце содрогается от сей ужасной мысли. Две власти Государственные в одной Державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга; а право без власти есть ничто.

Самодержавие основало и воскресило Россию; с переменою Государственного Устава ее, она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия? Если бы Александр, вдохновенный великодушною ненавистию к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для предписания себе иных законов, кроме Божиих и совести, то истинный добродетельный гражданин Российский дерзнул бы остановить его руку и сказать: “Государь! ты престаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями, Россия пред Святым Олтарем вручила Самодержавие Твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание Твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!..”<...>

Наш Государь имеет только один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти: да царствует добродетельно! Да приучит подданных ко благу! Тогда родятся обычаи спасительные; правила, мысли народные, которые лучше всех бранных форм удержат будущих Государей в пределах законной власти. Чем? Страхом возбудить всеобщую ненависть в случае противной системы царствования. Тиранин может иногда безопасно господствовать после тирана, но после Государя мудрого – никогда! “Сладкое отвращает нас от горького”, сказали послы Владимировы, изведав веры Европейские» [7, с. 397–398].

Рассуждая о том методе, который Александру надлежит применить для недопущения тирании и ограничения самовластия, Карамзин с наибольшей ясностью формулирует свой принцип *исторической аскезы* как единственного подходящего России способа недопущения самодурства власти, как единственной российской конституции.

Самодержавие есть главный факт русской истории. Такой факт, на котором основываются все остальные факты. Именно самодержавный замысел

и самодержавная воля движут Россию сквозь пространство и время. «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием» [7, с. 382] – таково карамзинское резюме долгой работы по постижению русской истории.

Ограничить самодержавие введением каких-то разнодействующих ему властей значит ограничить действующую силу русской истории, рассредоточить Россию и посеять вражду в ее гражданах и сословиях. Противоречие, на взгляд Карамзина, в русском случае является не двигателем истории, а ее тормозом, как в «Лебеде, раке и щуке» другого знаменитого русского консерватора той эпохи – И.А. Крылова.

Либеральному способу ограничения самовластия через разделение властей, через взаимное уравнивание несогласий и противоречий, примиряемых «невидимой рукой» и «хитрым разумом», Карамзин противопоставляет консервативное понимание ограничения зла через накопление блага, через приятие и продолжение наследия – «обычаи спасительные; правила, мысли народные».

Благодетельное царствование предыдущего правителя создает для следующего суженный коридор возможностей, в коем тирания невозможна, так как будет не осуществима и не принята гражданским обществом. «Тиран иногда может господствовать после тирана, но после государя мудрого – никогда». Самодержавие же, направленное ко благу, сохранит свою полную силу. Добро в прошлом уменьшает вероятность зла в будущем, оставляя добру в будущем полную свободу.

Понимание консерватизма как концентрации благого наследия – прямое преемство Карамзина с отцом британского консерватизма Эдмундом Бёрком («славным Борком» как он называет его в «Письмах русского путешественника») [см.: 11; 9]. Интерес Карамзина к английской исторической и политической традиции несомненен, и мимо его внимания не прошли гремевшие на всю Европу «Размышления о революции во Франции», где сказано следующее:

«Люди не станут думать о своем потомстве, если оно, в свою очередь, не будет оглядываться на предков... Идея наследия питает собой надежный принцип передачи, отнюдь не исключая принципа совершенствования. Идея эта оставляет простор для приобретения нового, но она обеспечивает сохранность приобретенного... Политические установления, богатство и дары Провидения все они сходным образом передаются нам, а затем от нас далее...» [3, с. 100].

Однако идею наследия как ограничения произвола мы у Бёрка не находим. Она, по всей видимости, составляет совершенно оригинальный вклад Карамзина в сокровищницу консервативной мысли.

Равно как совершенно оригинальна идея Карамзина о самодержавии, ограниченном самодержавием, – проходящая сквозь записку «О древней и новой России» мысль о том, что самодержец не может отказаться от самодержавия, что ограничение самодержавной власти значило бы самовольное преступление положенных ей пределов.

Русский самодержец вместе с Мономаховым венцом принимает на себя многотрудный аскетический подвиг продолжения русской истории, образования себя с нею. Он не может предаваться легкомысленным фантазиям и мечтам, не может демонстрировать самовластие в эгоистическом легкомыслии.

Карамзин рисует такой образ легкомысленного самодержавия, разрушающего государство, в лице Лжедмитрия, в котором трудно не узнать злую пародию на «дней Александровых прекрасное начало». Потеря властью уважения порождает нечто горшее, чем тирания – мятеж (тут вспомним, что царствова-

ние Александрово породило в итоге именно мятеж, и подивимся прозорливости Карамзина).

«Он имел некоторые достоинства и добродушие, но голову романтическую и на самом троне характер бродяги; любил иноземцев до страсти, и не зная Истории своих мнимых предков, ведал малейшие обстоятельства жизни Генриха IV, Короля Французского, им обожаемого. Наши монархические учреждения XV и XVI века приняли иной образ: малочисленная Дума Боярская, служив прежде единственно Царским Советом, обратилась в шумный сонм ста правителей мирских и духовных, коим беспечный и ленивый Димитрий вверил внутренние дела Государственные, оставляя для себя внешнюю политику; иногда являлся там и спорил с Боярами к общему удивлению, ибо Россияне дотол не знали, как подданный мог торжественно противоречить Монарху. Веселая обходительность его вообще преступила границы благоразумия и той величественной скромности, которая для Самодержавцев гораздо нужнее, нежели для монахов Картезианских... Россияне перестали уважать его, наконец, возненавидели и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не мог бы попирать ногами Святыню своих предков, возложили руку на Самозванца.

Сие происшествие имело ужасные следствия для России; могло бы иметь еще и гибельнейшие. Самовольные управы народа бывают для Гражданских Обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений Государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного изступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителей. Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали в верности: горе его преемнику и народу!» [7, с. 384].

Однако страх мятежа, несогласия, народного протеста, неприятия народной совести является для Карамзина не столько предметом ужаса, как для реакционеров, сколько исполнительным органом на суде истории над недостойными государями.

Даже великий государь, как Петр I, когда насилует народную совесть и искажает народный облик и душу, отрекается от преемственного хода русской истории, чтобы ее «раскрасить», в уплату за это опасно сближается с тираном.

«Еще народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных. Тайная Канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования Государственного. Многие гибли за одну честь Русских кафтанов и бороды, ибо не хотели оставить их и дерзали порицать Монарха. Сим бедным людям казалось, что он, вместе с древними привычками, отнимает у них самое Отечество» [7, с. 390].

Просветительство и свободомыслие в сочетании с разрывом исторической традиции порождают лишь деспотизм и пытки ради насаждения западного обычая и непрошенной «свободы». Здесь снова предупреждение Александру с его реформаторскими порывами.

Утрата доверенности народа – высший суд и приговор за нарушение исторической конституции России. Карамзин не одобряет мятежей и переворотов, но грозит царям народным мнением и народным молчанием, как в «Мнении русского гражданина», предрекая Александру в случае восстановления Польши разрыв живой связи с гражданами.

«Я слышу Русских, и знаю их: мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к Царю: остыли бы душою и к Отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением Государства, но и духом; унизились бы пред другими и пред собою. Не опустел бы конечно дворец; Вы и тогда имели бы Министров, Генералов: но они служили бы не Отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наемники, как истинные рабы... А Вы, Государь, гнушаетесь рабством, и хотите дать нам свободу!» [7, с. 438].

Гражданин, живой и деятельный участник русской истории, уступит место молчаливому верноподданному, рабу, механически или из личной выгоды исполняющему любую волю, исходящую от престола, – такая гражданская казнь, ужасающая из возможных, ждет на взгляд Карамзина монарха, преступившего закон русской истории.

Не удивительно, что «Записка» Карамзина произвела сильное впечатление на Александра I и содействовала эволюции его политической линии [см.: 8, с. 165–166]. В лице историографа император столкнулся не с ретроградом, не с придворным интриганом, не с выразителем мнений публики, а с убежденным в своей миссии пророком, вещающим от имени самой Русской Истории по праву самого глубокого его знатока. Эта опора на историю давала Карамзину силу не только противоречить, но и грозить царю, не превращаясь при этом в революционера. То право увещевания, которого Петр лишил церковных первосвященников, Карамзин ощутил в себе как плод аскетического подвига постижения русской истории. Его устами Россия древняя говорила с Россией новой, предписывая ей свои законы.

\* \* \*

Практические занятия Карамзина как историографа произвели в нем радикальную перемену понимания самого предмета истории. Молодой литератор понимал «сочинение» истории как раскрашивание ярких картин прошлого, позволяющее сокращать скучные события и сведения. Зрелый историограф прошел школу *исторической аскезы*, усвоил принцип смирения перед историческим фактом, перед идеей подлинного, действительно бывшего. История теперь видится ему не как плод конструирующего художественного вдохновения, а как сбывшаяся реальность.

На принципе исторической аскезы Карамзин базирует и свои политические суждения в записках, обращенных к императору. «*Старому народу не нужно новых законов*», тысячелетняя история России накладывает на власть определенные обязательства и сковывает вольность «художественного вдохновения» в политике и красочных реформах.

Карамзин убежден: *русская история является единственной истинной российской конституцией*. Именно в ней заложены те механизмы ограничения самовластия, противодействия тирании, защиты свободы, которые тщетно надеяться найти для русских в теориях разделения властей и прочих формах европейского конституционализма.

Да, самодержавие – главная движущая русскую историю сила, и любое разделение власти приведет лишь к смуте и исчезновению динамики русской истории. Однако это не значит, что самодержец свободен в своем самовластии и произволе. *Самодержавие в России ограничено самодержавием*. И дело не только в том, что монарх не может произвольно отречься от части или всех своих прав, но и в том, что благотворное самодержавие предков ограничивает возможность самовластия и тирании потомков.

Принимая бёрковскую консервативную идею как наследование блага, Карамзин развивает ее, трактуя *наследие как ограничение зла*. Каждый этап



благой власти уменьшает вероятность возникновения тирании впоследствии и снижает ее приемлемость для русского общества.

Вторым столпом исторической конституции России наряду с благим наследованием является для Карамзина доверенность между государем и народом. Русским ответом на тиранию, по мнению историка, является не мятеж и не переворот, а безмолвие. Но это безмолвие ведет к исчезновению нравственной связи народа и властителя. Не перестают подчиняться, но перестают любить и доверять, и через то стройный механизм русского исторического государства разлаживается. *Казнь молчанием* должна страшить русских государей не меньше, чем европейских плаха и гильотина, и тем удерживать от тирании – этот мотив блистательно разовьет в «Борисе Годунове» Пушкин.

### Литература

1. Афиани В.Ю., Козлов В.П. От замысла к изданию «Истории государства Российского» // Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Наука, 1989. Т. 1.
2. Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915.
3. Бёрк, Эдмунд. Размышления о революции во Франции и о прениях в некоторых лондонских обществах касательно сего события, содержащиеся в письме, предполагавшемся быть отправленным некоему благородному господину в Париж. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992.
4. Карамзин Н.М. Избр. соч.: в 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1.
5. Карамзин Н.М. Избр. соч.: в 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2.
6. Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Наука, 1989. Т. 1.
7. Карамзин Н.М. О древней и новой России. М.: Жизнь и мысль, 2002.
8. Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX века. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного ун-та, 2011.
9. Филатова Ю.А. Формирование консервативного стиля мышления: Эдмунд Бёрк и Николай Карамзин: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.: РГГУ, 2005.
10. Эйдельман Н. Последний летописец. М.: Книга, 1983.
11. Южанинова Е.Р. Британские мыслители XVIII в. и Н.М. Карамзин: Опыт историко-философского сопоставления // Теория и практика общественного развития (Краснодар). 2015. № 21. С. 230–232.

*Аннотация.* В статье исследуется взаимосвязь эволюции взглядов Карамзина на методы изучения и написания русской истории и его политических воззрений. Автор полагает, что принцип исторической аскезы, отказа от приукрашивающего вымысла, выработанный историографом в процессе работы с подлинными историческими источниками, был перенесен им в свои политические воззрения. Карамзин начал протиполовлять реальный исторический опыт России любым произвольным политическим проектам – «старому народу не нужны новые законы». Этот опыт он считает ограничением даже царского самовластия. Русская история является для него единственной российской конституцией. Способ предупреждения тирании он видит в благом правлении самодержцев, которое делает невозможным самовластие их преемников. По сути, историограф выдвигает парадоксальную концепцию самодержавия,

ограниченного самодержавием. Тем самым Карамзин творчески развивает бёрковское понимание консерватизма как накопления блага, усматривая в преемственности еще и ограничение зла, внося огромный вклад в установление оснований русской и европейской консервативной мысли.

*Ключевые слова:* Карамзин, Бёрк, русская история, самодержавие, конституция, наследие, самовластие, тирания, консерватизм.

Yegor Kholmogorov, Essayist; Editor-In-Chief, "Russian commentator" and "New Chronicle" Online Magazines. E-mail: holmogorow@yandex.ru

**Constitution of the Old Nation.  
Historical and Political Concept of Nikolai Karamzin**

*Abstract.* In this article the author analyses the evolution of Karamzin's views on the ways of studying and writing Russian history, as well as the evolution of his political views. The author believes that the principle of historical ascesis and rejection of the embellishing fiction, developed by the historiographer in the process of his work with authentic historical sources was then transferred by him to his political views as well. Karamzin started to oppose the practical historical experience of Russia to any arbitrary political projects, – "old nation didn't need any new laws". He considered this experience to serve even as limitation for the czarist autocracy. For Karamzin Russian history was the only solemn constitution of Russia. For him, the way to prevent tyranny was the righteous rule of the czar that made impossible the despotism of his successors. Inherently the historiographer offers a paradoxical concept of autocracy limited by autocracy. Thereby Karamzin creatively advanced Burke's definition of conservatism as accumulation of good, by seeing also the way to confine evil in continuity, thus contributing to establishing the basics of Russian and European conservative ideas.

*Keywords:* Karamzin, Burke, Russian History, Autocracy, Constitution, Legacy, Absolute Power, Tyranny, Conservatism.

*В.В. Ванчугов  
Политическая грань творчества Н.М. Карамзина*

*А.И. Филюшкин  
Сотворение Грозного царя: зачем Н.М. Карамзину был нужен  
«тиран всея Руси»?*

*Н.К. Гаврюшин  
Метафизика и историософия в творчестве Н.М. Карамзина*

## Политическая грань творчества Н.М. Карамзина

В 1778 году двенадцатилетний Николай Карамзин продолжил образование в пансионе профессора Московского университета Иоганна Матиаса Шадена. Программа обучения включала в себя основы всех дисциплин, входивших в гимназический курс. Шаден, уроженец Пресбурга, выпускник Тюбингенского университета, в 1756 году принял приглашение Московского университета занять должность ректора его гимназий. В программе лекций на 1757 год объявлялось, что в дворянской гимназии он прочитает курсы риторики, пиитики, мифологии, научит чтению классических писателей, даст представление о состоянии военном, политическом и «житии академическом», а также пройдет курс философии в кратком изложении. В последующем он также читал в университете курсы по нумизматике и геральдике, логике и метафизике, практической философии и этике, «науке образования нравственности и совести», народному праву, политике, или науке государственного правления, правилам частного благоразумия, или экономии, истории нравственных наук, естественного и государственного права. Впрочем, подобная широта интересов свидетельствовала не столько об эрудиции Шадена, сколько о недостатке кадров в университете и гимназии.

Особого внимания заслуживают и публичные речи Шадена – «О душе законов», «О монархиях, способных возбуждать и питать любовь к отечеству, и о том, что любовь сия есть главная душа законов в монархиях», «Похвальное слово о Екатерине Великой, первой из законодателей, премудро основавшей законодательство свое на Совестьном Суде, ею учрежденном», «Спрашивается: вредна ли или полезна роскошь частным людям, городам, и паче монархиям, и ежели вредна, то до какой степени и как прекратить и ослабить вредное ее действие», «О воспитании благородного юношества, яко основании продолжительной народной славы в монархическом наипаче правлении», – поскольку в них представлена была вся политическая часть его учения, адаптированная к местным условиям.

С основанием университета политическое учение стало предметом особого попечения. До этого основы политической науки не изучали систематически, а касались сопутствующих тем эпизодически, от случая к случаю. В 1663 году Юрий Крижанич начал писать на «общеславянском языке» главный труд своей жизни – трактат «Разговоры о владательстве» («Политика»), но его работа в течение трех столетий оставалась в рукописи. Заслуживает упоминания, в контексте темы становление политического знания в России, «Диалек-

*Ванчугов Василий Викторович*, доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заместитель главного редактора портала «Русская idea».  
E-mail: vanchugov@gmail.com



тика» Иоанна Дамаскина (частично переведенная уже в XI веке, полностью – не позднее XIII века), известная в многочисленных списках. Точнее, речь идет об «Источнике знания», содержащем «Философские главы», обычно называемые «Диалектикой», составленные главным образом на основании «Введения к Категориям Аристотеля» Порфирия и самих «Категорий» Аристотеля, где в главе «Шесть определений философии» дается разделение философии на два типа – теоретическую и практическую. Теоретическая философия разделяется на богословие, математику и физиологию, а практическая – на этику, экономику и политику. Практическая философия упорядочивает нравы и учит, как следует устраивать свою жизнь, при этом, если она воспитывает одного только человека, то называется этикой, если семью, то называется экономикой, а если такую общность, как город, то называется политикой [2].

Но при основании первого российского университета политика попадает в разряд наук не философских, а юридических. Согласно «Проекту об учреждении Московского Университета» от 12 января 1755 года именно на юридическом факультете, наряду с профессорами «всей юриспруденции» и «юриспруденции российской», утверждался и «профессор политики», который должен был «показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие века и как состоят в нынешнее время». Но сразу стоит отметить, что в реальности вместо указанных трех профессоров преподавание юридических наук в университете с 1756 по 1764 год вел лишь один – приглашенный из Австрии Ф.Г. Дильтей, при этом именно политика оставалась вне его забот. Да и в последующем она была вне поля зрения профессуры, и только Шаден проявлял к ней особый интерес.

В 1781/1782 учебном году Карамзин посещал в качестве вольнослушателя лекции в Московском университете и не мог пропустить речь Шадена «О воспитании благородного юношества, яко основании продолжительной народной славы в монархическом наипаче правлении»<sup>1</sup>, произнесенную 23 сентября 1781 года. Из всех форм общественного и политического устройства именно монархический способ правления, отмечает Шаден, наилучший, и государь здесь уподобляется Богу, поскольку благодаря безграничной власти способен одарить мудрыми законами всех своих подданных. А ближайшей опорой государя и сословием, наиболее способным к приобретению личной и народной славы, выступает дворянство, которому для верного исполнения своих обязанностей и духовного призвания необходимы глубокие знания, объемлющие человеческую натуру. И юному дворянину поможет поступать в соответствии с соображениями мудрости и нравственного долга, исполнять в точности законы и пользоваться славой благодарного отечества изучение такой науки, как философия. Для этого ему необходимо познать человеческую природу в ее основных отношениях: к миру физическому, к себе и к Богу. Первому содействует естественная история, физика, анатомия, математика; второму – право естественное, общегосударственное и международное, а также политика; третьему – богословие естественное и откровенное. Также наряду с науками и философией благородному юноше следует заниматься и искусствами: живописью, архитектурой, музыкой, особенно красноречием и поэзией, и изучать отечественный, греческий и римский языки.

Карамзин предпочел на первых порах заняться красноречием и поэзией. Осенью 1784 года его принимают в «Дружеское ученое общество», он начинает сотрудничать с журналом «Детское чтение», редактором которого был Н.И. Новиков. Карамзин переводит «Времена года» Томсона, «Деревенские вечера»

<sup>1</sup> В оригинале “Oratio solemnis de ingenuae juventutis educatione, gloriae nationum duraturae fundamento praecipuo et fulcro, in Monarchiis maxime”.

Жанлис, «Юлия Цезаря» Шекспира, «Эмилию Галотти» Лессинга, в 1789 году публикует свою первую повесть «Евгений и Юлия».

В мае того же года Новиков арендует в Москве типографию университета и, заодно, местную газету, выходящую с 1756 года, – «Московские ведомости. Газета политическая и литературная». Первым делом Новиков взялся за политический раздел. А в январе 1790 года в Москве появился и специализированный «Политический журнал», который печатался ежемесячно в университетской типографии. Он был точной копией одноименного немецкого журнала, издававшегося в Гамбурге, только редакторами были Павел Афанасьевич Сохацкий, Матвей Гаврилович Гаврилов и Василий Сергеевич Подшивалов, входившие в кружок Новикова. На титуле первого номера было обозначено полное название издания: «Политический журнал с показанием ученых и других вещей, издаваемых в Гамбурге обществом ученых мужей. Перевод с немецкого»<sup>1</sup>, и начиналось оно «Историческим и политическим обозрением 1789 года».

Карамзин в этот период предпринял поездку в Европу, и в письме 1790 года, описывая могилу Ришелье, представляет кардинала «не с христианской, святой религией», а с «чудовищем, которое называется политикою», которое Вольтер описывает в «Генриаде»:

Дщерь гордости властолюбивой,  
Обманов и коварства мать,  
Все виды может принимать:  
Казаться мирною, правдивой,  
Покойною в опасный час;  
Но сон вовеки не смыкает  
Ея глубоко-впавших глаз;  
Она трудится, вымышляет;  
Печать у Истины берет  
И взоры обольщает ею;  
За Небо будто восстает,  
Но адской злобою своею  
Разит лишь собственных врагов.

Вскоре после возвращения Карамзин публикует в «Московском журнале» (1791, август) рецензию на «Опыт нынешнего естественного, гражданского и политического состояния Швейцарии, или Письма Вильгельма Кокса», перевод английского автора, напечатанный в университетской типографии. В 1792 году последовал арест Новикова, допросы ряда видных масонов, высылка некоторых из столицы в имения. Раздражение императрицы в немалой степени вызвало свидетельство настойчивых попыток масонов вовлечь в свою веру наследника престола Павла, где под видом религиозно-философского учения проводились политические принципы, чреватые потрясением основ всей системы монархического управления. И хотя Карамзин формально уже расстался с масонами, он все же оставался под подозрением.

В ноябре 1796 года он пишет «Оду на случай присяги московских жителей Его Императорскому Величеству Павлу Первому, Самодержцу Всероссийско-

<sup>1</sup> В 1794–1801 годах отсутствовал, а в 1802–1806 годах издание официально именовалось «Политический Журнал, или Современная история света», в 1807–1809 годах он стал «Политическим, Статистическим и Географическим журналом, или Современной историей света», с 1809 подзаголовков года переименован в «Исторический, статистический и географический журнал, или Современная история света» и с таким заглавием продолжал существовать до 1830 года включительно.

му», где среди прочего выражает оптимизм по поводу «сотрудничества» подданных с правителем:

«<...> Святая искренность, не бойся  
К царю приблизиться теперь!  
Он хочет счастья миллионов,  
Полезных обществу законов;  
К нему отверста мудрым дверь.  
Кто Павлу истину покажет,  
О тайном зле монарху скажет,  
Подаст ему благой совет,  
Того он другом назовет <...>» [9, с. 185–186].

Особо отмечается в оде тип эпохи, характер века и его вдохновители:

«Для нас течет Астреин век;  
Что росс, то добрый человек.  
Петр Первый был всему начало;  
Но с Павлом Первым воссияло  
В России счастье людей.  
Вовек, вовек неразделимы,  
Вовеки будут свято чтимы  
Сии два имени царей!  
Их церковь вместе величает,  
Россия вместе прославляет;  
Но ты еще дороже нам:  
Петр был велик, ты мил сердцам» [9, с. 189].

Как видим, Екатерина II здесь не упоминается, а Павел противопоставляется ей как прямой потомок и продолжатель славных дел Петра I. Но вскоре новые реалии меняют и поэтическую риторiku Карамзина, и его политические приоритеты. Это видно по сборнику од [1], где среди прочих<sup>1</sup> напечатаны и карамзинские «Стихи Его Императорскому Величеству Александру Первому, самодержцу Всероссийскому, при восшествии на престол». После оды, написанной Карамзиным по случаю вступления Александра I на престол, последовал рифмованный опус по случаю его коронации, и в обоих случаях высказано одобрение первым шагам Александра в управлении и изложена желательная программа царствования.

В первом он поведал: «<...> Как ангел божий ты сияешь / И благостью и красотой / И с первым словом обещаешь / Екатеринин век златой <...>» [9, с. 261]. В этом опусе автор уже принял к сведению и исполнению «Манифест» нового императора, обещавшего «управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в Бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни импе-

<sup>1</sup> Ода Его Императорскому Величеству Александру Первому, во изъявление всеподданнейшей благодарности от Московского университета, удостоившегося получить высочайшее благоволение, с благоговением посвящает Университета куратор Павел Голенищев-Кутузов; Павел Голенищев-Кутузов. Всевожделенное восшествие на Всероссийский Императорский престол...; Харитон Чеботарев, проф. истории, нравоучения и красноречия. Настройте, музы восхищенны...; Алексей Мерзляков, бакалавр. Ода Его Императорскому Величеству Великому государю Александру Павловичу, самодержцу Всероссийскому, на всерадостное Его на престол вступление; М. Херасков. Его Императорскому Величеству, Александру Первому, самодержцу Всероссийскому; Владимир Измайлов. Песнь патриота Александру Первому.

ратрицы Екатерины Великия». Так что Екатерина II снова помещена в эпицентр событий, в ряд ключевых фигур «золотого века», и в оде «На торжественное коронование Его Императорского Величества Александра I» Карамзин сообщает: «Се храм бессмертия и славы! <...> Там – там сияют Антонины; / Там должен Александр сиять / Между Петра, Екатерины / И титло Мудрого приять / В залог бессмертия и славы!» [9, с. 269].

Но, учитывая новые акценты, Карамзин от стандартной верноподданнической поэзии переходит к ученой прозе, взявшись за ученое сочинение, дух и характер которого понятен из самого названия – «Историческое похвальное слово Екатерине Второй». И здесь будет уместным вспомнить и первого наставника Карамзина – Шадена, в свое время также отметившегося в этом жанре изъявления мыслей: «Panegyricus de Catharina Magna Legislatorum prima omnium, Legislationem suam, sapienti ac divino prorsus consilio, conscientiae, foro ei peculiari consecrato, directe inaedificanti» – «Похвальное слово о Екатерине Великой, первой из законодателей, премудро основавшей законодательство свое на Совестном Суде, ею учрежденному, 22-го апреля 1779 г.».

В первой части «Похвального слова» Карамзин пишет о военных успехах царствования Екатерины II, вторая и третья посвящены ее законодательным идеям, извлекаемым им из «Наказа»<sup>1</sup>, где даны «самые лучшие основы для политического образования России». И потому мысли императрицы подобны «фаросу», способному «остерегать все монархии от политического кораблекрушения». И тот, кто не желает государству бедствий, должен «обновить внимание» и еще раз перечесть «Наказ», для чего Карамзин и делает соответствующие выписки: «Империя близка к своему падению, как скоро повреждаются ее начальные основания; как скоро изменяется дух Правления, и вместо равенства законов, которые составляют душу его, люди захотят личного равенства, несогласного с духом законного повиновения; как скоро перестанут чтить Государя, начальников, старцев, родителей»; «Самодержавство разрушается, когда Государя думают, что им надобно изъявлять власть свою не следованием порядку вещей, а переменою оною, и когда они собственные мечты уважают более законов» и т.д., перемежая многочисленные цитаты восхвалениями императрицы.

Однако, учитывая отношение Карамзина к Екатерине II, становится понятно, что этот панегирик был составлен исключительно в адрес Александра I, выбравшего «достойный тип для подражания». При этом помимо панегирических задач – «похвалы Екатерине» и лести Александру – имелся и «педагогический умысел» – составить своего рода конспект политического наследия и указать в нем темы, достойные развития, а также проблемы, нуждающиеся в решении. Так что, хваля «Минерву на троне», Карамзин пытался выставить наиболее привлекательные моменты просвещенного самодержавия, достойные внимания юного правителя.

«Слово», написанное в 1801 году и через Д.П. Трощинского врученное Александру I, не осталось без внимания, и если за свои оды Карамзин получил от государя перстень, то за новый опус – табакерку, осыпанную бриллиантами. Примечательно, что устранный с престола Павел I был добит заговорщиками при помощи удара в висок золотой табакеркой... Ну а занявшему престол Александру ничего не оставалось, как взять за образец, хотя бы на время, систему управления империей Екатерины Великой.

Карамзин же тем временем предпринял новое дело, уповая на то, что диалог ученого мужа с императором будет непременно продолжен. Вернув Екатерину II на политический Олимп «золотого века», он все же помянул добрым словом и ее жертву – своего бывшего советника Новикова, описав в

<sup>1</sup> Наказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения (1767).



«Вестнике Европы» (1802, № 9) в статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России» его издательскую деятельность и управление «Московскими ведомостями»<sup>1</sup>.

9 октября 1801 года в № 81 «Московских ведомостей» появилось объявление, доведившее до сведения читателей, что с января следующего года Карамзин намерен издавать журнал «Вестник Европы», который будет «извлечением из двенадцати лучших английских, французских и немецких журналов. Литература и политика составят две главных части его». Став одновременно издателем и главным автором, Карамзин за 1802 и 1803 годы издал сорок восемь книжек «Вестника Европы», выдавая каждые две недели по номеру. Его политическая позиция была обозначена уже в самом начале, в виде публикации «Письма к издателю» (автором был сам Карамзин), где выражалась надежда, что «вся Европа, наскучив беспорядками и кровопролитием, заключает мир, который, по всем вероятностям, будет тверд и продолжителен».

Опубликованное в первом номере «Всеобщее обозрение» выражало его восприятие и оценку текущих дел: «Франция, несмотря на имя республики, есть теперь в самом деле ничто иное, как истинная монархия», – и в этом контексте трактуется деятельность первого консула, сочетающего «действия геройства и разума», внешняя политика и внутреннее правление которого достойны удивления [3]. Так что если читателем этого номера оказался бы Александр I, то он должен был извлечь, с подачи Карамзина, тот урок, что если Екатерина II является эталоном прошлого империи, то в настоящем объектом, достойным внимания сторонника просвещенной монархии, является не кто иной, как первый консул Бонапарт.

Особо импонирует Карамзину стремление первого консула выбирать сотрудников, руководствуясь практическими соображениями их пригодности: «Бонапарте... не ищет союза той или другой партии, но ставит себя выше их и выбирает только способных людей, предпочитая иногда бывшего дворянина и Роялиста искреннему Республиканцу, иногда Республиканца Роялисту» [8]. При этом именно абсолютная власть в руках первого консула позволяет ему возвышаться над эгоизмом отдельных воль частных лиц и политических деятелей, выступать в роли примирителя, и если в консульском совете ему и противоречат, то он слушает, доказывает и делает по-своему, когда уверен в своей правоте, и желая блага не только французам, но и всему человечеству.

Также стоит отметить второй номер журнала за 1802 год, где было опубликовано «Письмо из Соединенных Американских Областей», в котором дается портрет президента Джефферсона – идеального главы государства: «Наше отечество представляет теперь редкий феномен в истории народов: феномен правления, обращенного единственно к общему, верховному благу. Мы обязаны тем Джефферсону (президенту конгресса), верному исполнителю законов. Он все важные должности поручает людям, удостоенным общего почтения; людям, которых способность изведена опытом в низших должностях, и которые в республиканском патриотизме своем никогда не искали личных для себя выгод. Сей философ, известный в Европе своими творениями о земледелии и ботанике, знает столь же хорошо и человеческое сердце, умея избирать в орудие государственного блага не хитрых, а добрых; ибо он уверен, что разум и самые истинные таланты должны быть удаляемы от правления, как скоро они не соединены с хорошей нравственностью и с душой твердой. Потому все его выборы заслужили одобрение граждан, хотя аристократические газеты злословили насчет некоторых» [11].

<sup>1</sup> «Господин Новиков был в Москве главным распространителем книжной торговли» [5].

Эти и другие политические зарисовки достойных правителей, идеальных черт руководителей стран и народов делались не только для освещения происходящего за пределами России, но и для привлечения внимания молодого императора, ищущего свой стиль в устоявшейся системе правления, с учетом тех изменений, которые произошли в Старом и Новом Свете. И вскоре удачная рефлексия прошлого и избирательная внимательность к политической сфере современности принесли свои результаты.

Тем временем ведутся работы по составлению Устава Московского университета, согласно которому готовится учреждение четырех отделений, и среди кафедр отделения нравственных и политических наук предполагалась кафедра «права естественного, политического и народного». Чуть ранее из Дерпта в университет прибыл Х. Шлецер, чтобы занять в Москве должность ординарного профессора по естественному праву и политике. С 1801 по 1803 год он преподавал всеобщую историю, право, политику и этику, издав, среди прочего, на латинском языке, учебное пособие «Начальные основания политических наук» (1802). В 1803/1804 учебном году Шлецер прочел курс публичных лекций по истории Западной Европы в средние века, на которые обратил внимание и Карамзин [6]. И сделано это было не столько с целью набрать материал для журнала, сколько для вхождения в новый вид деятельности. 31 октября 1803 года последовал «именной Его Императорского Величества указ Кабинету»: «Как известный писатель, Московского университета почетный член Николай Карамзин изъявил Нам желание посвятить труды свои сочинению полной Истории отечества нашего, то Мы, желая ободрить его в столь похвальном предприятии, Всемилостивейше повелеваем производить ему, в качестве Историографа, по две тысячи рублей ежегодного пенсионера из Кабинета Нашего».

После этого Карамзин обратился печатно с прощальным словом к читателям «Вестника Европы» и взялся за наставления монарха посредством такого вида деятельности, как составление истории Отечества. В 1805 году закончен первый том истории, в 1806-м – работа над вторым, в 1808-м завершён третий.

В конце 1809 года Карамзин представлен великой княгине Екатерине Павловне, сестре императора, проживающей по месту службы мужа, принца Георга Ольденбургского, в Твери, и вскоре историк приглашен в гости. В феврале следующего года он шесть дней проводит в Твери, где по вечерам читает главы из своего труда. Второй раз Карамзин посетил Тверь в начале декабря, и на этот раз чтение «Истории» перемежаются разговорами об особенностях развития Отечества. Карамзин изумляет хозяйку взглядами на современные события как логически обусловленные деяниями в прошлом, и она предлагает ему изложить соображения на эту тему в письменном виде, чтобы представить их императору, который намеревался посетить Тверь весной следующего года. Ввернувшись в Москву, Карамзин принимается за сочинение, для которого уже найдено название, – «Россия в ее гражданском и политическом отношениях».

Рассудительность Карамзина, основанная на его исторических изысканиях, выборочное внимание к настоящему, подчеркивающее величие прошлого и перспективы будущего, расположили к себе высокопоставленных особ. Екатерина Павловна предложила ему занять должность тверского губернатора, Александр I намеревался назначить Карамзина министром народного просвещения, однако из-за слишком малого чина ему предложили в итоге место попечителя Московского университета. Впрочем, от всех предложений, касающихся практической деятельности, Карамзин отказался, удовлетворившись чином историографа и орденом Св. равноапостольного князя Владимира тре-



твей степени, врученным в июле 1810 года за «отличные познания и усердие к распространению Российских изящных письмен и Словесности», а более всего за труды, «употребляемые в изысканиях и составлении отечественной нашей Истории».

Однако далеко не все соотечественники были хорошего мнения о трудах Карамзина, и идею, проводимую им в сочинении, толковали в ином свете. Например, новый попечитель Московского университета П.И. Голенищев-Кутузов, который еще в 1790-х годах участвовал в масонской кампании по дискредитации Карамзина, извещал в августе 1810 года нового министра просвещения А.К. Разумовского, что, «ревнуя о едином благе, стремясь к единой цели», не может он «равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям г. Карамзина», поскольку они «исполнены вольнодумческого и якобинского яда». Также его встревожило, что «последователи и одобрители» историка еще выше подняли голову, поскольку его сочинения «одобрены пожалованием ему ордена и рескриптом, его сопровождавшим», при этом император не знает, какой «гибельный яд в сочинениях кроется», поскольку автор проповедует безбожие и безначалие, так что не орден ему надо дать, а запретить в крепости, не хвалить сочинения, а сжечь. Так что, полагает попечитель Московского университета, министру просвещения необходимо срочно «открыть государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготе, яко врага Божия и врага всякого блага и яко орудие тьмы» [10, с. 491].

Тем временем Екатерина Павловна несколько раз напомнила Карамзину, что с нетерпением ждет «Россию в ее гражданском и политическом отношениях». В начале февраля 1811 года Карамзин привез обещанный труд в Тверь, и его чтение продолжалось несколько дней, то и дело прерываемое вопросами. Далее оставалось ждать, когда сочинение дойдет до главного читателя, основного адресата. И вот вскоре получено письмо (18 февраля) с известием о том, что Александр решил ехать в Тверь, и Екатерина Павловна сразу же уведомила историка о планах императора. Карамзин с великой княгиней приехал в Тверь раньше Александра, и в дни ожидания разговор то и дело возвращался к сочинению. Карамзин был представлен 16 марта, после чего состоялся разговор об историческом обществе и о прочих ученых предметах. Относительно же своего сочинения Карамзин мог пока лишь сообщить И.И. Дмитриеву, что желает, «чтобы государь выехал отсюда с благоприятным ко мне расположением» [7, с. 140].

На следующий день после отъезда царя Карамзин отправляет Дмитриеву еще одно письмо, где перечисляет свои достижения: «Вчера мы в последний раз имели счастье обедать с государем, он уехал ночью. Сверх четырех обедов я с женою был два раза у него во внутренних комнатах, а в третий при великой княгине и принце читал ему свою «Историю» доле двух часов, после чего говорил с ним немало – и о чем же? О самодержавии!! Я не имел счастья быть согласен с некоторыми его мыслями, но искренно удивлялся его разуму и скромному красноречию. Сердце мое всегда влеклось к нему, ибо угадывало и чувствовало доброту сего редкого монарха: теперь люблю, уважаю его по внутреннему удостоверению в красоте его души. Дай Бог, чтобы он был счастлив счастьем России, вот первое желание моего сердца, привязанного к нему и к отечеству!» [7, с. 140–141].

«Историю» Карамзина – из пятого тома о Дмитрие Донском и Куликовской битве – государь слушал с «вниманием и удовольствием», до полуночи, после чего, прощаясь с автором перед сном, вторично звал его в Петербург. После этой теплой встречи Екатерина Павловна и сочла наиболее подходящим, чтобы вручить брату «Записку о древней и новой России». На следующее утро Карамзин и Екатерина Павловна с волнением ожидали результата. Но на другой день Ка-

рамзин с удивлением заметил, что государь был совершенно холоден к нему и, прощаясь со всеми, взглянул на него издали равнодушно. И вплоть до 1816 года Карамзин не получал более ни одного «знака императорской милости»<sup>1</sup>.

Работа над «Историей государства Российского» продолжилась, и в начале февраля 1816 года Карамзин приехал в столицу хлопотать об издании первых восьми томов. Примерно в то же время в Петербурге создается тайное политическое общество – «Союз спасения», на следующий год переименованное в «Общество истинных и верных сынов Отечества», члены которого решили изменить ход истории, чтобы ввести в России представительное правление. 29 октября 1816 года Н.И. Тургенев, недавно вернувшийся из Европы в Россию, сообщал брату Сергею, занимавшему дипломатический пост в Константинополе, что не увидел в Отечестве ни одного человека, с которым бы можно мне было говорить о любимой им «материи» – либерализме, которого ни в ком не обнаруживает, и даже брат его, Александр Иванович, «пустился в обскурантизм» и сделался «гасильником»<sup>2</sup>, а «хваленый их Карамзин» кажется умным человеком только до тех пор, пока говорит о русской истории, но когда переходит на политику, то также оказывается «гасильником» [13, с. 200].

12 ноября того же года Тургенев записывал в дневнике, что вчера был при заседании «Арзамаса» и после заседания говорил с Карамзиным, Блудовым и другими о положении России и обо всем том, о чем он рассуждает «всега охотнее»: «Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и желать надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают – на время; но время, как я уже давно заметил, принося с собою доброе, приносит вместе и злое» [14, с. 7]. Чуть позже Тургенев сообщает тому же адресату, что начала печататься «История» Карамзина, который «думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличилась деспотизмом, что здесь называют самодержавием, и, доказывая сие, заключает... что самодержавие одно только и может сохранить величие России» [13, с. 203–204]. «История государства Российского» только печаталась, а Николай Тургенев начал высказывать опасения относительно политического направления этого труда. 30 ноября 1816 года он пишет брату Сергею, что многие ее очень хвалят, но он лично, хотя ничего еще и не прочитал, однако «посмотрев на Карамзина», думает, что «мы будем лучше знать *facta* русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для России творение распространило у нас либеральные идеи; боюсь даже противного» [13, с. 203].

Таким образом он изложил кредо либерала-радикала: научная деятельность должна быть частью пропаганды, причем исключительно контрконсервативного характера. Брат думал в том же роде, озаботившись привлечением даровитых людей в стан либерализма. Так, С.И. Тургенев сообщал В.А. Жуков-

<sup>1</sup> «Записку» император увез с собой, и при его жизни о ее существовании никто не знал. Обнаружили ее лишь в 1836 году при разборе бумаг А.А. Аракчеева, умершего в 1834 году. На заседании Российской академии 18 января 1836 года, где присутствовал принц Петр Ольденбургский – сын Екатерины Павловны, адмирал А.С. Шишков упомянул о пребывании Карамзина в Твери в 1811 году и о его «Записке». Пушкин решил воспользоваться первым публичным заявлением об этом документе и напечатать его в «Современнике», но цензура не пропустила.

<sup>2</sup> Термин, введенный в употребление парижской газетой «Nain Jaune», где в номере от 5 января 1815 года были напечатаны «Органические статуты ордена «Гасильник»», а в номере от 15 февраля – протокол заседания, где впервые употреблен значок, обозначающий членов ордена «Гасильник». С этого времени термин «гасильник» стал среди либеральной общественности нарицательным как название реакционеров, невежд, «гасивших» свет просвещения.

скому, что чем более он читает произведения русской словесности, тем более обожает его музу, которую Жуковскому не следует баловать: «Помните, что талант ваш не весь вам принадлежит, но и отечеству. Употребляйте его не только для себя, но и к просвещению России. – Грешно другим писателям не употреблять его совсем в противную сторону – я укоряю в этом и Карамзина. Зачем не оставить Пеззаварию<sup>1</sup> и подобным проповедывать мрак, деспотизм (по-русски самодержавие) и рабство? – Как бы приятно было видеть все дарования на стороне либеральных идей... все невежество, всю скуку, всю глупость на стороне противной. Пишите же в пользу либеральности. Нельзя образовывать ум лучше, как восхищая вместе дух, а кто читает спокойно стихи ваши, того нам и не надобно» [13, с. 485].

В январе 1818 был образован «Союз благоденствия», где «наружно» провозглашалось нравственное воспитание и просвещение народа, помощь правительству в благих начинаниях и смягчение участи крепостных, а «внутренней», скрытой целью, известной лишь членам «Коренной управы», было установление конституционного правления. А чуть ранее, 11 сентября 1818 года, Карамзин писал И.И. Дмитриеву: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое!» [7, с. 249]. И истоки такого толкование «республиканизма», как истинного монархизма, можно обнаружить уже во «Всеобщем обозрении» из первого номера «Вестника Европы», где извещалось, что Франция, «несмотря на имя республики, есть теперь в самом деле нечто иное, как истинная монархия» [3].

Карамзин позиционирует себя республиканцем на своеобразный манер, совершенно неприемлемый представителями либерального стана. А.С. Пушкин в одном из сохранившихся фрагментов записок, сожженных им при получении известия о восстании 14 декабря 1825 года, сообщал о Карамзине: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: “Итак, вы рабство предпочитаете свободе”. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменялся» [12, с. 278]. И далее он сообщал, что «молодые якобинцы» негодовали, обнаружив у Карамзина «несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутых верным рассказом событий», и это казалось им «верхом варварства и унижения». Но Пушкин напоминает, что они почему-то забыли, что Карамзин печатал «Историю» в России и что государь, освободив его от цензуры, «этим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности», при этом автор рассказывал о прошлом «со всею верностию историка, он везде ссылался на источники – чего же более требовать было от него?», и потому «История Государства Российского» является «не только созданием великого писателя, но и подвигом честного человека» [12, с. 278–279].

Таким образом, «случай с Карамзиным» представил нам показательный пример политики, когда частное лицо публично рассуждает о государстве и власти. И этот пример интересен тем, что Карамзин как историограф, ученый, состоящий на службе, уповает на превращение политики в публичную сферу, где соединяются власть и интеллект. Обращаясь к истории, он предполагает тем самым обучать власть и заложить основы «умной политики». Для Карамзина настоящее – монархия и прочие сопутствующие ей институции – закономерный результат, естественное следствие прошлого, и потому

<sup>1</sup> С.И. Тургенев имел в виду журналиста Павла Павловича Пезаровиуса, основателя и первого редактора военной благотворительной газеты «Русский инвалид».

за ними и будущее, в то время как для его оппонентов настоящее России – недоразумение, итог неудачного прошлого. Только вот историю они знали плохо, толковали о ней по пересказам, настоящее презирали и жили в воображаемом будущем.

Палитра политических оппонентов Карамзина представлена в его «Мыслях об истинной свободе» (1826): «аристократы, демократы, либералисты, сервиллисты». Сервиллисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден, а демократы, либералисты – беспорядка, ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод<sup>1</sup>. Впрочем, любая полемика страдает избирательностью «оптики», и потому не следует полагать, что Карамзин встал над схваткой, выйдя из нее победителем. Конечно, сам Карамзин предложил именно подобный исход<sup>2</sup>, но для нас важнее иной сюжет – его попытка войти в сферу политики, понимаемой им как служение власти посредством вовлечения ее в систематическое научное толкование настоящего посредством доступных гражданину средств, от журналистики до историографии. Император же, как основной объект Карамзина-политика, приобщенный при восшествии на престол «даров Святого Духа», к наставлениям ученых эпизодически прислушивается, однако не принимая их в основание своей деятельности. Так что усилия Карамзина воспринимались их свидетелями скорее как пропаганда монархии посредством истории. И подобный исход не первый, и не последний.

«История» Карамзина устарела, но убеждение о возможности умной политики, о «государе, внимающем ученым», живо и по сей день. И потому будут появляться в гуманитарной сфере труды, этим убеждением мотивированные, оригинальные, но станет ли политика разумной, основанной на чистой рациональности? Опыт Карамзина показал, что прагматизм политики совсем не исключает ее иррациональности, и «исправление» политика, наставление его на путь истины посредством науки – дело проигрышное, однако для самой науки – полезное.

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в [4, с. 194–195].

<sup>2</sup> Свои «Мысли» он завершает следующим пассажем: «Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый из нас самому себе с помощью Божию. Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностию к Провидению!».



## Литература

1. Всерадостный глас благодарения московских муз Вседержавному монарху россов Александру Первому, торжественно произнесенный апреля 14 дня, за изъявленное Его Императорским Величеством все милостивейшее к ним благоволение в высочайших к начальникам Московского университета рескриптах от 4 апреля сего 1801 года. М.: Университетская типография, 1801.
2. *Иоанн Дамаскин, прп.* Философские главы // Творения преподобного Иоанна Дамаскина: Источник знания. М., 2002. Гл. LXVI.
3. *Карамзин Н.М.* Всеобщее обозрение // Вестник Европы. 1802. № 1. С. 66–78; Переизд.: *Карамзин Н.М.* Избр. соч.: в 2 т. М.; Л.: Художественная литература, 1964. Т. 2.
4. [*Карамзин Н.М.*] Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. СПб., 1862. Ч. 1.
5. *Карамзин Н.М.* О книжной торговле и любви к чтению в России // *Карамзин Н.М.* Избр. соч.: в 2 т. М.; Л.: Художественная литература, 1964. Т. 2. С. 176–180.
6. *Карамзин Н.М.* О публичном преподавании в Московском университете // Вестник Европы. 1803. № 24.
7. [*Карамзин Н.М.*] Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву: к письмам приложены снимки почерка и портрет Карамзина: [ко дню столетней годовщины рождения Н.М. Карамзина] / По поручению Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук издали с примечаниями и указателем Я. Грот и П. Пекарский. СПб.: Издание II-го Отделения Императорской Академии наук, 1866.
8. *Карамзин Н.М.* Письмо из Парижа // Вестник Европы. 1802. № 9. С. 66.
9. *Карамзин Н.М.* Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1966.
10. Карамзин: Pro et Contra. Личность и творчество Н.М. Карамзина в оценке русских писателей, критиков, исследователей: Антология / Сост. Л.А. Сапченко. СПб., 2006.
11. Письмо из Соединенных Американских Областей // Вестник Европы. 1802. № 2. С. 75–77.
12. *Пушкин А.С.* Карамзин // *Пушкин А.С.* Собр. соч.: в 10 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. Т. 7.
13. [*Тургенев Н.И.*] Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.; Л.: Изд. Академии наук СССР, 1936.
14. [*Тургенев Н.И.*] Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811–1816 годы. СПб., 1913. Т. III.

*Аннотация.* В статье дан обзор и анализ политической составляющей жизни и творчества Н.М. Карамзина. Historiographer показан в разные этапы его деятельности, для которой характерны установки на возможность опосредованного влияния на высшую власть, и наиболее приемлемым и удобным инструментом воспринимается наука, в частности, история.

*Ключевые слова:* власть, история, политика, просвещение, монархия, самодержавие, парламент, республика, идеология, пропаганда, полемика, консерватизм, либерализм, журналистика.

Vasily Vanchugov, Ph.D. in Philosophy; Professor, Department of History of Russian Philosophy, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University; Deputy Editor-in-Chief, "Russian Idea" Portal (politconservatism.ru). E-mail: vanchugov@gmail.com

### Political Aspects In the Work of N.M. Karamzin

*Abstract.* The article presents and overview and analysis of the political components in the life and work of N.M. Karamzin. The historiographer is shown at various stages of his creative work aiming at the possibility of indirectly influencing the power elite, and considering science, and in particular history, the most acceptable and easy-to-use instrument to this effect.

*Keywords:* Authority, History, Politics, Enlightenment, Monarchy, Autocracy, Parliament, Republic, Ideology, Propaganda, Polemics, Conservatism, Liberalism, Journalism.

## **Сотворение Грозного царя: зачем Н.М. Карамзину был нужен «тиран всея Руси»?**

«Карамзин открыл русскому обществу его историю, как Колумб открыл Америку», – эта фраза А.С. Пушкина давно стала хрестоматийной, определяющей место великого историографа в ряду отечественных историков [подробнее см.: 2, с. 93–105]. Она обычно понимается следующим образом: до Карамзина русское общество погрязало во тьме невежества, а после появления «Истории государства Российского» знания о прошлом Отечества стали обязательной частью интеллектуального багажа россиян. При этом не учитывается, что данные знания, безусловно, представлявшие собой грандиозное продвижение в науке для начала XIX века, в реальности по многим пунктам были больше приближены к легендам, чем к доказанным историческим фактам. То есть Карамзин в большей степени открыл обществу (или «сотворил», если предпочитать терминологию Ю.М. Лотмана [16]) миф российской истории, в которой концептуальный, схематический момент явно преобладал над объективными историческими реконструкциями.

Главная заслуга Карамзина – создание оформленной, складной, гармоничной, убедительной и легко усваиваемой обществом картины национальной истории [8, с. 114–140; 15, с. 72–86]. Он сформулировал ее в образном и довольно сжатом виде [19, с. 219–234] (несмотря на многотомие «Истории государства...»), что в дальнейшем не удалось повторить никому из столпов отечественной исторической мысли.

При анализе сотворения карамзинского мифа сложность в том, что историограф думал, что вовсе не сочиняет миф, а рассказывает историческую правду. Он был абсолютно убежден в своих способностях и возможностях постичь, объяснить, истолковать прошлое. Карамзин считал, что он реконструирует подлинную историю, «как оно было на самом деле». Он искал правду, но находил миф, зато этот миф излагал так убедительно, что по многим сюжетам мы до сих пор смотрим на прошлое через очки, надетые на нас «последним летописцем». Чтобы понять природу образов, вышедших из-под его пера, надо постичь его исследовательскую «кухню». В полной мере это относится к созданию Карамзиным образа «самого страшного русского тирана» – Ивана Грозного.

Что знали о первом русском царе до Карамзина? О нем не существовало целостного исторического нарратива. «Степенная книга» – памятник, который должен был представить фундаментальную картину истории Российского царства как воплощения царства Божьего на земле, в виде лестницы, ступенями («степенями») которой были подвиги русских князей-правителей, а высшей

*Филюшкин Александр Ильич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: a.filushkin@spbu.ru*

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-10080).*





точкой – правление первого богоизбранного царя Ивана Васильевича, – обрывается на 1563 году [22; 24]. Как раз на правление Ивана Грозного приходится временное прекращение русского летописания. В литературе это принято объяснять наступившим «...на рубеже 70–80-х годов XVI века крахом внешней и внутренней политики “яростиваго” правителя, отказом от попыток свалить переживаемые неудачи на “измены” бояр, невозможностью выработать вполне приемлемую для Ивана IV версию событий его долгого “царства”» [23, с. 14]. Большинство летописей завершает повествование на 1567 году. Однако, как отметил В.И. Корецкий, в конце 1560-х – начале 1570-х годов прекратилось только официальное летописание, а составление местных и частных летописчиков продолжалось [13, с. 12]. Это псковские, новгородские летописи, Соловецкий летописец и др. Царствование Ивана Грозного в них описано фрагментарно. В основном акцент делается на внешнюю политику, на войны и дипломатическую деятельность. Ряд таких летописей обвиняет царя в злодействах (в частности, Новгородском погроме) и критикует за проигрыш Ливонской войны и тяготы, которые несло дворянство в многочисленных боях и походах «за государство имя» (например, псковские летописи).

Но летописного текста, на основе которого можно было бы обстоятельно и подробно реконструировать историю правления Ивана IV, не было создано. Более или менее полные летописные компиляции появятся только во второй половине XVII – XVIII веке (например, Пискаревский летописец, Латухинская степенная книга, Морозовский летописец). Но и их повествование было очень выборочным.

Летописная ситуация сильно осложняла задачу Карамзина и была для него принципиально новой. До этого почти по всем сюжетам русской истории существовал летописный нарратив, который уже организовал материал в некую схему. За ней можно было следовать или нет, ее можно было критиковать и переделывать, но она была: готовая схема со своим сюжетом, героями и анти-героями, действующими лицами. Такой материал лежал в основе изысканий Карамзина вплоть до эпохи Василия III включительно. Но в случае с Иваном Грозным такая летопись отсутствовала. Материал нужно было монтировать, взяв схему изложения, ориентир откуда-то еще.

Обратимся к анализу источников раздела «Истории государства Российского», посвященного правлению Ивана Грозного. Карамзин привлек в качестве основных два вида источников – летописи и посольские книги. Из летописей надо указать Синодальный список, Лицевой летописный свод (Царственную книгу), псковские летописи, Архивский список, «Казанскую историю», Никонскую летопись, Новгородскую летопись по списку Малиновского, Двинскую летопись, Александро-Невскую летопись, «Скифскую историю» Лызлова, Латухинскую Степенную книгу, так называемый Карамзинский хронограф, «Повесть о псковской осаде» и др. [обзор летописных сводов XVI века см.: 11]. Многие оценки и канва событий были взяты Карамзиным из позднего Морозовского летописца (список XVIII века). Посольские книги – это составленные задним числом сборники дипломатических документов (не оригиналы, а копии) [20]. Карамзин использовал польские, крымские, ногайские, шведские и др. В качестве второстепенных источников привлекались опубликованные в «Древней российской вивлиофике» боярские списки (преимущественно свадебные разряды), Стоглав, Судебник 1550 года, некоторые воинские разряды. Часто Карамзин был не очень разборчив. Он одинаково использовал тексты и XVI, и XVII, и даже XVIII веков. (Латухинскую степенную книгу, «Скифскую историю» Лызлова и Морозовский летописец – памятник летописания XVIII века).

Сегодня такой набор исходного материала сочли бы недостаточным даже для дипломной работы студента-историка. Для начала XIX века это было гран-

диозное научное достижение (учитывая, что подавляющее большинство источников историограф изучал по рукописям).

Но все эти источники не удовлетворяли Карамзина. В летописях упоминалось о раздорах среди бояр, о междоусобицах и казнях еще во времена малолетства Ивана. Но объяснения, какова в этом была роль юного государя, почему при дворе лилась кровь вельмож, летописи не содержали. Это объяснение надо было прочесть «между строк». Карамзин был слишком честным историком, чтобы просто придумать объяснение «начала черных дней Иоанна». И он начал искать источники, которые это объяснение содержали бы. Воистину бесценным открытием для него оказалась «История о князя великого московского делех» – написанное в Речи Посполитой в начале 1580-х годов сочинение беглого князя-эмигранта и первого русского диссидента Андрея Курбского [14].

Проблема степени достоверности сведений, сообщаемых Курбским, неоднократно обсуждалась в научной литературе [25; 21; 5; 14, с. 479–836]. Не углубляясь в дискуссию, зададимся простым вопросом: насколько доверчиво отнесся бы любой суд к показаниям свидетеля, который: 1) был смертельным врагом царя Ивана, считал его виновником всех своих жизненных бедствий; 2) написал свои «показания» тридцать лет спустя после описываемых событий; 3) целью сочинения Курбского было «показать грехопадение некогда праведного царя», то есть творческий замысел изначально сводился к критике царя Ивана; 4) читателем и адресатом «Истории...» Курбского была шляхта Речи Посполитой, страны, которая находилась с Россией и Иваном IV в состоянии войны. Стоит ли доверять такому свидетелю?

Ответ очевиден. Но для Карамзина Курбский стал источником высшей инстанции, заслуживающим несомненного доверия (он ни разу не усомнился в достоверности сведений, сообщаемых беглым князем). Видимо, особое впечатление на историографа произвела роль, которую себе приписал Курбский: беглец от тирана, борец за свободу и против тирании, обличитель деспота с нравственных позиций – всё это было Карамзину очень интересно и, видимо, духовно близко. Несомненно, созвучен Карамзину был и стиль, слог Курбского, поиск морально-нравственных объяснений – то, чего ему так не хватало у скучных и богобоязненных летописцев. Что касается вопроса о достоверности, Карамзин рассуждал так: «Изгнанник Курбский имел, конечно, злобу на царя, но мог ли явно лгать перед современниками в случаях, известных каждому из них? Он писал для россиян, которые читали сию книгу с жадностью, списывали, хранили в библиотеках... такой чести не оказывают лжецу» [10, примеч., с. 4, примеч. 3]. Историограф здесь слукавил скорее не по злому умыслу, но по незнанию. Все списки сочинения Курбского относятся к XVII–XVIII векам [6] – то есть русские современники Ивана Грозного не читали Курбского. Князь писал для Речи Посполитой, а в Россию его тексты проникли после Смуты, когда его «ложь» обличать было уже некому.

Карамзин привлекает Курбского в тех случаях, когда ему надо со ссылкой на источники объяснить с точки зрения морали причины поступков Ивана Грозного. Первый раз, когда он берет у князя описание действий бояр, развращающих душу ребенка и учащих его злодействам, жестокостям [9, примеч., с. 29, примеч. 133]. Второй – когда после московского пожара 1547 года к Ивану явился священник Сильвестр, обличениями и проповедью перевернувший душу царя и отвративший его с пути зла, наставив на путь добра [9, примеч., с. 40, примеч. 177–179]. Для подтверждения этой благодетельной перемены Карамзин привлекает материалы Хрущовской степенной книги о покаянной речи царя перед народом с Лобного места и так называемом земском «соборе примирения». Причем в примечаниях Карамзин данный фрагмент публикует полностью [9, примеч., с. 40–42, примеч. 182, 184]. Заметим, что этот текст, как показано

В.Н. Автократовым, является фальсификатом конца XVII века [1, с. 258–279; 3, с. 238–254; 18, с. 183–186; 12, с. 11–21]. Курбский для Карамзина является главным источником также при описании разгона «Избранной рады» в 1560 году и роли Сильвестра и Адашева в управлении страной [10, примеч., с. 6, примеч. 5, 6, 9–12, 14]. Для подкрепления он приводит цитаты из писем Ивана Грозного к Курбскому, критикующие Сильвестра и Адашева [10, примеч., с. 6–7, примеч. 4, 13, 15, 16, 18].

Таким образом, Курбский для Карамзина оказался источником смыслов русской истории, откуда он черпал объяснения ее ключевых моментов.

Был еще один источник, который Карамзин впервые в историографии столь массово привлек для своей работы, – это записки иностранцев о России. Они содержали объяснения событий (которые часто отсутствовали в летописях) и были более понятны Карамзину как произведения европейской литературной культуры. Его «История...» содержит многочисленные ссылки на сочинения А. Гваньини, Т. Бреденбаха, И. Таубе и Э. Крузе, Дж. Флетчера, П. Петрея, М. Стрыйковского, Даниила Принца и Кобенцля, Р. Гейденштейна, А. Поссевино и других. П. Одеборна, автора первой в истории биографии царя Ивана (1585) [26], Карамзин сперва отрицает, отвергает как «баснословное» повествование [10, примеч., с. 11, примеч. 34], но затем поддается соблазну (уж больно колоритные факты сообщает немецкий пастор) и несколько раз использует его как источник [10, примеч., с. 61–62, примеч. 183, 184; с. 80, примеч. 250; с. 210, примеч. 603], передавая в своей «Истории...» разные сплетни, гулявшие в XVI веке по Германии. Карамзин в качестве источников использовал и поздние иностранные компиляции, основанные на пересказе слухов, сплетен, мифов и легенд (такие, как созданные в XVII веке тексты Кельха, Фредро и др.). Иван Грозный стал для Карамзина первым героем, рамки для описания которого были в значительной мере взяты из иностранных источников, отнюдь не объективных и часто основанных на пересказе слухов и легенд.

Таким образом, в сочинении образа Ивана Грозного Карамзиным мы видим несколько исходных составляющих, связанных с недостатками метода историографа. К ним нужно отнести слабость источниковедческого анализа, когда поздние источники мифологического характера использовались наравне с аутентичными и оригинальными. Налицо явная зависимость Карамзина от текстов, содержащих объяснения морализаторского характера. Схема истории Ивана Васильевича была заимствована из «Истории...» и писем Курбского и других источников, авторы которых были заведомо настроены против «тирана». Это тексты, созданные в странах, с которыми Россия воевала или находилась в состоянии культурно-религиозного противостояния.

Образ Грозного формировался у Карамзина не только под влиянием источников, но и под воздействием презентизма, культурных и политических установок эпохи, России начала XIX века. Современников, переживших просвещенный абсолютизм Екатерины II, произвол Павла I и возвращение к политическим идеалам «бабушки» при Александре I, волновала природа монаршей власти, возможность ограничения произвола и тирании с помощью благих советников, соотношение проблем власти и морали и т.д. Говорить о них было безопаснее на историческом материале, а современники могли сами делать выводы на основе исторических аллюзий. Карамзинские образы царя Ивана и его советников стали нарицательными. Как пример приведем очень показательное обращение А.И. Тургенева к наставнику юного Александра II В.А. Жуковскому: «Ты не принадлежишь сам себе: имя твое будет известно в дальнейшем потомстве. Роль твоя *a'peu pres* [подобна – А.Ф.] роли Адашева» [4, с. 6].

Чем же так затронул струны российской души карамзинский Иван Грозный? Историограф поставил вопрос о достоинстве правителя, его высшем пра-

ве занимать престол. С одной стороны, «на троне не бывает предателей» [9, с. 6], то есть монарх по определению патриот и радетель за Отечество. С другой стороны, он может быть слаб, неопытен, недостаточно умен, наконец, испорчен, сбит с истинного пути злыми советниками. И тогда он теряет моральное право править своими подданными. Эта проблема компетентного, правильного правителя, обозначенная Карамзиным, была актуальной и в XIX веке и остается таковой по сей день. Цель правления – «править во благо людей», власть должна находить одобрение и поддержку в народе, иначе она ничего не стоит. Править таким образом – «святое искусство» [9, с. 86]. Данный тезис также целиком сохранил востребованность и актуальность на протяжении двух столетий.

Сам приход к власти малолетнего Ивана IV ставит вопрос о том, годится ли он для короны: «...страх, что будет с Государством? волновал души. Никогда Россия не имела столь малолетнего Властителя; никогда – если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу – не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки, Литовского ненавистного рода» [9, с. 6] (имеется в виду мать Ивана Елена Глинская, бывшая регентшей при малолетнем государе). И первые шаги новой власти вызывали сомнения в народе: «Россия видела себя под жезлом возникающей олигархии, которой мучительство есть самое опасное и самое несносное. Легче укрыться от одного, нежели от двадцати гонителей. Самодержец гневный уподобляется раздраженному Божеству, пред коим надобно только смиряться; но многочисленные тираны не имеют сей выгоды в глазах народа: он видит в них людей ему подобных и тем более ненавидит злоупотребление власти» [9, с. 10]. Ошибки Елены Глинской – это прежде всего моральные ошибки, несправедность жизни, неверные моральные ориентиры: «Опасаясь гибельных действий слабости в малолетство Государя самодержавного, Елена считала жестокость твердостью, но сколь последняя, основанная на чистом усердии к добру, необходима для государственного блага, столь первая вредна оному, возбуждая ненависть; а нет Правительства, которое для своих успехов не имело бы нужды в любви народной. Елена предавалась в одно время и нежностям беззаконной любви и свирепству кровожадной злобы!» [9, с. 16].

Юный царь, сбитый с праведного пути льстецами и корыстными советниками, предавался жестоким утехам и правил плохо. Дальше у Карамзина возникает столь характерный для русской истории мотив жертвы: «Характеры сильные требуют сильного потрясения, чтобы свергнуть с себя иго злых страстей и с живою ревностию устремиться на путь добродетели. Для исправления Иоаннова надлежало сгореть Москве!» [9, с. 95].

Жертва была принесена. Московский пожар 1547 гола потряс царя Ивана. В разгар бедствия к нему явился священник Сильвестр, который «...гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою Царя легкомысленного и злострасного; что огонь Небесный испепелил Москву; что сила Вышняя волнует народ и лиет фиал гнева в сердца людей. Раскрыв Святое Писание, сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем сонму Царей земных; заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов; представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком; обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть добродетельным – и приял оную» [9, с. 99–100]. Так возник «первый Иван» – Иван добродетельный, который правил во благо подданных, проводил прогрессивные реформы, успешно воевал с внешними врагами благодаря людям, которыми он себя окружил. «Здесь начинается эпоха Иоанновой славы, новая, ревностная деятельность в правлении, ознаменованная счастливыми для Государства успехами и великими намерениями» [9, с. 101].

Но наступает 1560 год, и выясняется, что греховную натуру царя не переделать. Рождается (точнее, возвращается) «второй Иван» – тиран. Вступление на скользкий путь началось с пустячного, даже в чем-то подросткового желания самостоятельности: царь «скучал излишне строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы; не мыслил оставить добродетели: желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтись». Были изгнаны благие советники, и царь впал в моральный разврат: «Ежедневно вымышлялись новые потехи, игрища, на коих трезвость, самая важность, самая пристойность считались непристойностию». Падение нравов вело к жестокостям, тирании, произволу – и как следствие упадку государства [10, с. 8–16]. Тем самым Карамзин объяснял благополучие или неблагополучие государства, переиначивая на современный лад провиденциалистскую идею, что народ несет ответственность за грехи своего правителя. Успешный и правильный правитель всегда высокоморален, тиран всегда аморален. Эта идея Карамзина также была созвучна его эпохе и находит сторонников по сей день. Как справедливо отметила Е.А. Жесткова, для Карамзина «история сохраняла свой этический смысл» [7, с. 290; ср.: 17, с. 40–47].

Отсюда и «слабость» Карамзина как историка, его обращение к сочинениям Курбского и иностранцев о России. В русских источниках нельзя было найти массовых свидетельств гнусных деяний царя Ивана, колоритных, со смакованием описаний его злодейств, убийств, изощренных надругательств, изнасилований и т.д. Зато у Одеборна и ему подобных авторов этого было в избытке. Приводимые ими примеры (не важно, реальные или вымышленные) прекрасно вписывались в карамзинскую схему, питали ее. И Карамзин дал этим образам вторую жизнь, использовал их для написания своей «Истории...» и тем самым навеки связал образ Ивана Грозного и образ гнусного, жестокого тирана и распутника. Царь Иван стал под его пером символическим злодеем в русской истории, образ которого потеснит в XX веке только образ Иосифа Сталина. Равных ему по концентрации негатива до второй половины XX века в русской исторической мысли не было.

Карамзину был нужен главный антигерой российской истории, причем не иноземный враг, с которым все ясно по определению, а падший грешник, персонаж, который был призван стать героем, но оступился, переродился и превратился в свою противоположность. Такую фигуру надлежало искать в прошлом, в средневековье или Московской Руси (дабы избежать рискованных параллелей с правящей династией Романовых). Иван Грозный здесь подходил идеально, тем более Карамзин искренне считал, что не изобретает его образ, а «открывает глаза» на тайные и драматические события русской истории, которые никого не оставят равнодушным.

В последнем великий историограф не ошибся. Сила воздействия созданного им образа оказалась такова, что царя Ивана не решились поместить на памятник 1000-летию России, воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году. Несомненные достижения царствования Ивана Грозного при этом оказались приписаны... Ивану III. Именно Ивану III коленопреклоненный татарин дает знак власти – бунчук, что может быть соотнесено с покоренными в 1552 году Казанью и в 1556 году Астраханью, но никак не соотносится с Иваном III, который сверг власть Большой Орды в 1480 году на реке Угре, но не покорил ни одного татарского ханства и не принимал от татар знаков власти (а Иван Грозный принимал). У ног государя со сломанным мечом лежит поверженный ливонец – но Иван III очень мало воевал с Ливонией, зато ее уничтожил в 1561 году Иван Грозный в ходе Ливонской войны. Мало того, за спиной Ивана III помещена фигура сибиряка – символ грядущего освоения Сибири, которое начнется спустя чуть ли не столетие после «государя всея Руси», в 1582 году, при Иване IV. В результате по-

лучилось, что на памятнике – две (sic!) фигуры Ивана III. Одна на среднем ярусе, в окружении покоренных татар (которых он не покорял) и разбитых ливонцев (которых он не разбивал), и другая – на фризе, среди государственных людей.

На памятнике помещены фигуры современников Ивана Грозного: Максима Грека, митрополита Макария, первого казанского архиепископа Гурия, священника Сильвестра, Алексея Адашева, воеводы Михаила Воротынского, Ермака Тимофеевича, даже первой жены царя Анастасии Романовой. А вот ее мужа нет. По популярной версии – потому, что памятник ставился в Новгороде, и новгородцам был памятен кровавый опричный погром Новгорода в 1570 году. Ни одно царствование до Ивана IV не дало столько персонажей, которым нашлось место на памятнике (больше дали только царствования Петра I, Екатерины II, Александра I). Но в отношении Ивана Васильевича сбылось пророчество Карамзина: «История злопамятнее народа».

## Литература

1. *Автократов В.Н.* «Речь Ивана Грозного 1550 г.» как политический памфлет конца XVII века // Труды отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1955. Т. 11. С. 258–279.
2. *Афиани В.Ю.* Н.М. Карамзин: «первый наш историк и последний летописец» // Историография истории России. М., 2013. С. 93–105.
3. *Веселовский С.Б.* Исследования по истории опричнины. М., 1963.
4. Дневник А.И. Тургенева за июль–август 1837 г. // *Грот К.Я.* В.А. Жуковский в Москве в 1837 г. СПб., 1902.
5. *Елисеев С.А.* «История о великом князе Московском» А.М. Курбского как памятник русской исторической мысли: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1984.
6. *Ерусалимский К.Ю.* Сборник Курбского: Исследование книжной культуры: в 2 т. М., 2009. Т. 1.
7. *Жесткова Е.А.* Эпоха Иоанна Грозного в изображении Н.М. Карамзина и А.К. Толстого // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6. С. 290–294.
8. *Живов В.* Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91. С. 114–140.
9. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. СПб., 1819. Т. VIII.
10. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. СПб., 1821. Т. IX.
11. *Клосс Б.М.* Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980.
12. *Козлов В.П.* Тайны фальсификации. М., 1996.
13. *Корецкий В.И.* История русского летописания второй половины XVI – начала XVII в. М., 1986.
14. *Курбский, Андрей.* История о делах великого князя московского / Изд. подг. К.Ю. Ерусалимский. М., 2015.
15. *Летняков Д.Э.* Н.М. Карамзин и зарождение националистического дискурса в России // История философии. 2016. Т. 21. № 1. С. 72–86.
16. *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1986.
17. *Маджаров А.С.* Н.М. Карамзин о нравственном начале и Провидении в русской истории и историографии // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». 2016. Т. 16. С. 40–47.
18. *Морозов С.А.* К исследованию одной источниковедческой загадки (интерполяции в так называемой Хрущовской степенной книге и методика их анализа) // Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII веков. М., 1990. Ч. 2. С. 183–186.
19. *Парсамов В.С.* Карамзин и формирование исторической культуры в России: к проблеме «историк и аудитория» // Историческая культура императорской России: Формирование представлений о прошлом. М., 2012. С. 219–234.
20. *Рогожин Н.М.* Посольские книги России конца XV – начала XVII вв. М., 1994.
21. *Рыков Ю.Д.* «История о великом князе Московском» как источник по истории опричнины: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1972.
22. *Сиренов А.В.* Степенная книга: История текста. М., 2007.
23. *Солодкин Я.Г.* История позднего русского летописания. М., 1997.
24. *Усачев А.С.* Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария. М.; СПб., 2009.
25. *Ясинский А.Н.* Сочинения князя Курбского как исторический материал. Киев, 1889.
26. *Oderbornius P.* Ioannis Basilidis Magni Moscoviae Ducis Vita. Wittenberg, 1585.

*Аннотация.* Статья посвящена анализу «творческой кухни» историка Н.М. Карамзина, автора «Истории государства Российского». На примере формирования историографического образа Ивана Грозного автор реконструирует источники, на основе которых создавался образ первого русского царя. Ведущую роль здесь сыграли сочинение А. Курбского «История о делах великого князя Московского» и сказания иностранцев о России. Курбский для Карамзина оказался источником смыслов русской истории, откуда он черпал объяснения ее ключевых моментов. Образ Грозного формировался у Карамзина не только под влиянием источников, но и под воздействием презентизма, культурных и политических установок эпохи, России начала XIX века. Карамзину был нужен главный антигерой российской истории, падший грешник, персонаж, который был призван стать героем, но оступился, переродился и превратился в свою противоположность. Такую фигуру надлежало искать в прошлом, в средневековье или Московской Руси (дабы избежать рискованных параллелей с правящей династией Романовых). Иван Грозный здесь подходил идеально. Его образ у Карамзина крайне субъективен.

*Ключевые слова:* Н.М. Карамзин, Иван Грозный, Андрей Курбский, национальное самосознание, историография.

Alexander Filushkin, Ph.D. in History, Professor, Head, Sub-faculty for Slavic and Balkan States History, History Institute, St. Petersburg State University. E-mail: a.filushkin@spbu.ru

#### **Creating the “Terrible Tsar”: Why N.M. Karamzin Needed the “Tyrant of All Russia”?**

*Abstract.* The article is devoted to the analysis of “behind-the scene” creative activity of the Russian historian and the author of “The History of Russian State” N.M. Karamzin. Using the example of forming the historiographic image of Ivan the Terrible, the author reconstructs the sources that served as basis for creating the image of the first tsar of Russia. Karamzin’s major sources were “History of the Deeds of the Grand Prince of Moscow” by A. Kurbsky and stories of foreigners about Russia. For Karamzin, Kurbsky turned out to be the source of the senses of Russian history and Karamzin tended to refer to him when trying to interpret the key historical moments. Karamzin created the image of Ivan the Terrible not only on the basis of historical sources, but also under the influence of presentism, cultural and political goals in Russia in the beginning of the 19th century. Karamzin needed the main anti-hero in Russian history, a fallen sinner, a character, whose mission was to become a hero, but who made wrong decisions, took false steps, degenerated and turned into his antipode. Such character was to be searched for in the history of Middle ages or in the history of Moscow Russia (to avoid risky comparisons to the ruling Romanov dynasty). Ivan the Terrible was an ideal figure for such purposes. His image created by Karamzin is highly subjective.

*Keywords:* N.M. Karamzin, Ivan the Terrible, Andrej Kurbsky, National Awareness, Historiography.

## Метафизика и историософия в творчестве Н.М. Карамзина

Николай Михайлович Карамзин был с юности настроен стать не только русским историографом, но посвятить себя именно *философии истории*, искать точки соприкосновения метафизики и историософии.

Круг его чтения в юные годы в значительной мере был определен общением с московскими мартинистами. В одном из писем к И.И. Дмитриеву Карамзин вспоминает, как юношами они на берегу Волги, «геройски отражая сон, ночью читали Юнга в ожидании солнца» [12, с. 351]. Хотя и не привелось посетить Карамзину *Юнгов остров* в усадьбе И.В. Лопухина [см.: 3], но с увековеченными там мистическими писателями он познакомился основательно.

Среди московских розенкрейцеров Карамзин рано получил имя «брата Рамзея». Знаменитый в кругах вольных каменщиков шевалье Эндрю Рамзей (1686–1743) был автором «Новой Киропедии» (1727), сочинения, в котором московские мартинисты находили много родственного своим историософским и религиозным представлениям. «Ученик Фенелона» насытил его глубокими религиозно-философскими аллюзиями.

«Новая Киропедия» созидалась в период частого общения автора с Монтескье, лордом Болингброком и Рене д'Аржансоном... Философский смысл этого сочинения заключается в том, что свет «естественной религии» так или иначе обнаруживает себя в различных культурах, а сообщество наиболее просвещенных интеллектуалов, образуя на разных этапах истории единую цепь, способствует раскрытию глубинного смысла *разумной и сердечной веры*...

Эндрю Рамзей скорее всего мало имел времени для изучения знаменитых метафизических систем, но уже то обстоятельство, что он подготовил к печати два трактата своего духовного наставника, посвященных доказательствам бытия Божия, почерпнутым из «премудрого устройства природы» (*l'art de la nature*), а также доводов чисто умозрительных и самой идеи бесконечного (*preuves purement intellectuelles, et de l'idée de l'infini même*), свидетельствует в пользу его философских интересов.

Первая линия рассуждений, в центре которых «Книга Природы», восходит по меньшей мере к Раймунду Себундскому, которого во Франции популяризировал Монтень, но истоки ее вполне могут быть прослежены и в древних «Шестодневах». Вторая линия очевидным образом берет начало с онтологического доказательства Ансельма Кентерберийского и усиливает свою аргументацию в философии Декарта. Общее в них – демонстрация возможностей «естественного разума» в сфере истинного Богопознания.

Таким образом, историософская позиция Рамзея в той или иной мере имела метафизические основания, полученные у Фенелона, которые уже стали предметом специального изучения [14].

*Гаврюшин Николай Константинович*, кандидат философских наук, профессор Московской духовной академии. E-mail: bogomysl@yandex.ru





Карамзин, как новый «брат Рамзей», если и не читал изданных его «тезкой» метафизических трактатов Фенелона, то, несомненно, был хорошо знаком с видными продолжателями этой традиции, в частности с «Созерцанием природы» Ш. Бонне, да и суть картезианских доказательств бытия Божия ему в общих чертах должна была быть известна. Но вполне естественно, что в Европе он ощущает себя и «новым Киром», присматривающимся к тенденциям развития религиозных верований. Хотя он и отделился от московских мартинистов, но чтение «Новой Киропедии» не могло не оставить в его душе глубочайший след... Это ведь тоже *метафизика истории*...

Карамзин изначально тянулся именно к *философскому* изложению истории, и отнюдь не случайно, вспоминая о встрече с французом Левеком, издавшим «Российскую историю», он высказал сожаление, что у нас самих нет такой, «писанной с философским умом», например, подобной «Истории Англии» Давида Юма [7, с. 252]. Поэтому спустя много лет, когда его собственная «История государства Российского» стала уже предметом широкого обсуждения, он не без некоторого удовлетворения пишет И.И. Дмитриеву (1819), что французы находят в переводе его сочинения «философские мысли» [12, с. 279].

Слушая в Лейпциге лекцию профессора Платнера, Карамзин обратил внимание на его рассказ о Лейбнице, который «проехал всю Германию и Италию, рылся во всех архивах, в пыли и гнили молью источенных бумаг», чтобы собрать материалы для истории Брауншвейгского дома, и при этом «видел связь сей Истории с иными предметами, важными для человечества вообще» [7, с. 64].

Не приходится сомневаться, что когда сам Карамзин засел в архивы, его не покидали мысли о соотношении исторического повествования с философским пониманием мира видимого и невидимого, с *метафизикой*...

В «Письмах русского путешественника» школьный термин *метафизика* встречается неоднократно. Так, говоря о встрече с И. Гердером, Карамзин замечает, что «глубокомысленный Метафизик скрыт в нем весьма искусно» [7, с. 75]. В беседе с Виландом, который сам «не ломает головы» над кантовой «Метафизикой», заходит речь о его зяте Рейнгольде, который изъяснением этой метафизики как раз и занимается [7, с. 76].

У гробницы Декарта *русский путешественник* размышляет над тем, что этот мыслитель, хотя и «не во всем достоин веры, но всегда достоин удивления; всегда велик, и своею Метафизикою, своим нравоучением возвеличивает сан человека, убедительно доказывая бытие Творца, чистую бестелесность души, святость добродетели» [7, с. 284].

Метафизика упоминается среди разнообразных занятий французского светского общества накануне революции 1789 года [7, с. 224]; с одной парижской знакомой *русский путешественник* говорил «о любви в метафизическом смысле» [7, с. 274]; наконец, в школе для глухонемых он узнает, что ее воспитанникам сообщают «самые трудные, сложные, метафизические идеи» [7, с. 280].

На склоне лет, в письме к И.И. Дмитриеву (1824), Карамзин, сообщая о внезапной и безболезненной кончине М.И. Полетики, написавшего «метафизическую книгу», замечает, что «такая смерть хороша и достойна Метафизика» [12, с. 385]. А читая воспоминания И.И. Дмитриева, Карамзин ощутил, что ему «хочется вздохнуть при мысли, что такие сочинения выходят в свет уже во времена потомства, для нас *метафизического*»... [12, с. 368]. Своему другу он при этом желает «благоденствовать с умеренностью Философа» [12, с. 391].

Когда же и как сам Николай Михайлович заинтересовался «метафизикой», каковы были его источники, к каким результатам он пришел? Ведь во всяком случае не схоластические же курсы, читавшиеся в духовных школах, были его отправной точкой... И не философия Христиана Вольфа, о которой он знал явно понаслышке [7, с. 174].

Что философские интересы уже занимали молодого Карамзина, подтверждают его ближайшие друзья. *Disce philosophari* – учишься любознательностью, призывает его А.А. Петров в письме от 20 мая 1785 года [7, с. 501]. Летом 1789 года он пишет: «Я никогда не сомневался в том, что ты имеешь философский дух, тонкой, глубоко проникающий и удобный к открытиям, для других невозможным».

Несомненно, что ранние философские интересы Карамзина поддерживало чтение Вольтера («никакая философия не могла устоять против Вольтеровой иронии» [7, с. 159]) и Руссо. Но в кругах мартинистов первому мало симпатизировали, и вполне естественно было бы ожидать, что Карамзина так или иначе направят на изучение Сен-Мартена или «Божественной философии» Дютуа-Мамбрини.

Однако о Сен-Мартене он мельком упоминает всего один раз, да и то только в связи с его преданным учеником графом С.Р. Воронцовым [7, с. 548]. А что касается Дютуа... О его книге, изданной в русском переводе, идет речь в письме Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву, датированном 1819 годом. Карамзин пересказывает издательскую заметку из последнего номера «Русского инвалида», где говорится, «что и Евангелие не совсем хорошо, а хороша мистическая книга, переведенная Карнеевым: *Philosophie divine*». Это и есть книга Дютуа. «Многие сердятся, – продолжает Карамзин, – и предсказывают беды нашему просвещению; а я даже и не смеюсь» [12, с. 258].

Не менее показательным и отношением Карамзина к весьма популярному в его эпоху мистическому сочинению Жозефа де Местра «Петербургские вечера». 14 июля 1821 года он пишет И.И. Дмитриеву: «С головою болью читаю *Les soirées de St. Petersburg* Графа Местра, глубокомысленного до бессмыслицы» [12, с. 310–311].

Судя по всему, «христианский пифагореизм» Сен-Мартена, если Карамзин и ознакомился с ним, не оказал сколь-нибудь существенного влияния на его философские интересы, равно как не могли его глубоко увлечь ни догматическая метафизика луллианского толка, ни прямолинейный провиденциализм, давно высмеянный Вольтером в «Кандиде». У Карамзина всегда оставалась доля скептицизма к слишком решительным и систематическим метафизическим построениям. Прошел в свое время *русский путешественник* через «облако неведения», «*The Cloud of Unknowing*», даже не заглядывая в «Критику чистого разума»...

Готовясь к заграничной поездке, он четко расставляет приоритеты, и если говорить о *философской* программе, то она прямо связана с Германией и Швейцарией. Причем в ней равно представлены и знаменитые *критики* всякой возможной метафизики (Фернейский замок Вольтера, Кант), и создатели тех или иных *метафизических систем*, но непременно научно фундированных (Бонне).

Из переписки с А.А. Петровым известно, что уже в 1787 году Карамзин был почитателем эстетических воззрений Баттё. На вопрос Виланда о своих планах на будущее («что у вас в виду») Карамзин ответил: «жить в мире с Натурою... любить изящное и наслаждаться им» [7, с. 76]. В русле этой программы и была осуществленная им в 1792 году в «Московском журнале» публикация статьи Ф. Бутервека, соединившего в своей эстетической теории и кантианство, и элевсинские мистерии...<sup>1</sup>

Но все-таки главной для него, по-видимому, была переписка с Лафатером, а также чтение трудов Ш. Бонне и личное общение с ним.

Что привлекло Карамзина в швейцарском психологе Лафатере? Конечно, о его «Физиогномике» говорили во всех салонах. Но не технические приемы познания характера имели ценность в глазах Карамзина. В Лафатере он

<sup>1</sup> О Бутервеке см. нашу статью [1].

видел мыслителя, взгляд которого был устремлен *в вечность* (“Aussichten in die Ewigkeit”) и который именно *с точки зрения вечности* погружался в изучение сущности человека, оставаясь открытым к самым новейшим открытиям в области экспериментального естествознания («животный магнетизм»).

Первый вопрос, который Карамзин задает Лафатеру, посвящен *тайне человека*. «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они из совершенно различных стихий? Не служило ли связующим между ними звеном еще третье отдельное вещество, ни душа, ни тело, а совершенно особая сущность? Или же душа и тело соединяются посредством постепенного перехода одного вещества в другое?» [7, с. 468].

Можно полагать, что Карамзин так или иначе уже был знаком и с картезианским подходом к этой проблеме, и с перипатетическим, и с платоническим. Но мнение Лафатера было для него особенно важно.

От своего именитого корреспондента Карамзин получил весьма тонкий ответ: «Если б мне, мой милый Карамзин, – писал Лафатер, – какое-нибудь существо под луной могло сказать, что такое *тело само по себе* и что такое *душа сама по себе*, то я бы вам тотчас объяснил, каким образом тело и душа действуют друг на друга» [7, с. 470].

Лафатер предлагает Карамзину возвратиться в «облако неведения», философскую апофатику, неявным образом даже к Канту, хотя в то же время указывает и на положительный путь – «наслаждаться самим собой через самопожертвование». Но Карамзин еще живет идеалом *знания*: «Я хочу знать, – пишет он, – что я такое, ибо *знание*, по моему мнению, может сделать меня живее чувствующим бытие потому, что я таким образом могу, как мне кажется, достигнуть наслаждения самим собою» [7, с. 472].

Пусть, может быть, и не непосредственно, но идеалом Карамзина здесь выступает тот самый аристотелевский *Ум*, который блаженствует в созерцании *самого себя*.

В Цюрихе Карамзин задает Лафатеру еще два вопроса: 1) «Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных?» и 2) «Что должно думать об магнетизме?». На первый вопрос Лафатер отвечает, снимая саму предпосылку *целеполагания*: «*Бытие есть цель бытия*» [7, с. 479], то есть оно – самоцель... На второй он, очевидно, даже не обратил внимания...

Наконец, в письме от 1 декабря 1790 года Карамзин выдвигает перед Лафатером еще и принципиальную *историософскую проблему*, касающуюся идеи «нравственного прогресса»: «*мудрее ли мы и добродетельнее ли Древних, потому что мы христиане?*».

Ответа не последовало...

С этими нерешенными вопросами Карамзин отправился к другому выдающемуся мыслителю своей эпохи – Шарлю Бонне. Его труды он загодя внимательно изучал в России, готовился к изданию русского перевода «Созерцания природы». Давняя, задолго до Руссо выраженная мысль о том, что чтение *Книги Природы* является едва ли не лучшим путем *самопознания*, укрепляла его интерес к швейцарскому биологу и метафизику.

Сам Лафатер также проявлял весьма живой интерес к трудам Бонне. Он перевел на немецкий язык «Палингенезию» и вступил по этому поводу в полемику с М. Мендельсоном. Как пишет Р. Савиоз, «Лафатер заявляет, что этот труд расширил его душу, заставил его рассматривать природу и весь мир в новом свете, научил его ценить истинную философию и любить религию, ниспосланную с небес» [15, р. 369]. Кроме того, Лафатер обязан Бонне гипотезой о непрерывной лестнице существ, имеющей фундаментальное значение в его физиогномике.

Карамзин, хотя и весьма интересовался трудами Бонне, не был расположен безоглядно следовать выводам швейцарского ученого. Свою точку зрения

он высказал в письме к Лафатеру еще в 1788 году: «Я прилежно читаю сочинения *Боннета*. Хотя великий философ нашего времени открыл мне много новых взглядов, я все-таки не вполне доволен всеми его гипотезами. *Les germes, emboîtement des germes, les sièges de l'âme, la machine organique, les fibres sensibles* – все это очень философично, глубокомысленно, хорошо согласуемо и могло бы так быть и на самом деле, если б Господь Бог при сотворении мира руководствовался философией достопочтенного *Боннета*; но чтоб было это так на самом деле – этому не верю, пока верю, что мудрость Господня далеко превосходит мудрость всех наших философов...» [7, с. 476].

Надо заметить, что недовольство Карамзина с не меньшим основанием могло быть отнесено и к системам, созидавшимся задолго до Бонне – и к «семенным логосам» стоиков, и к аналогичным мыслительным конструкциям раннехристианских писателей... Всякому гипотетическому схемотворчеству Карамзин хочет противопоставить *непосредственное, непредвзятое* созерцание природы: «Я думаю, что было бы лучше наблюдать великое мироздание, как оно есть, и насколько это доступно нашему глазу, всматриваться, как все там *происходит*» [7, с. 476].

Насколько любое созерцание опосредствовано предыдущим опытом, возникающими на его основе антиципацией и рефлексией, Карамзин, конечно, еще не задумывался. Значение кантовского критицизма предстояло понять следующим поколениям...

К беседе с Кантом в Кенигсберге Карамзин готовился не столь основательно, как к встрече с Бонне.

«Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого Метафизика, который опровергает и Малекбранша и Лейбница, и Юма и Боннета – Канта, которого Иудейской Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как *der alles zermalmende Kant*, т.е. *всесокрушающий Кант*» [7, с. 20].

Кант первым делом заметил своему русскому собеседнику, что «не многие любят метафизические тонкости», и повел с ним речь о путешествиях, о дальних странах, о Китае, видимо, полагая, что эта тематика для него занимательнее. Через полчаса Карамзин «не без скачка» перевел разговор «на природу и нравственность человека». Ответ кенигсбергского мудреца был им кратко законспектирован. Суть его сводится к тому, что подлинную *радость жизни* Кант находил только в действиях, сообразных «с *законом нравственным*», начертанным в его сердце. Говоря о будущей жизни, мы «предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума», но далее сего наш человеческий разум проникнуть не может...

Кант записал Карамзину названия двух своих сочинений – «Критика практического разума» и «Метафизика нравов», – которых русский путешественник не читал. «Домик у него маленькой, и внутри приборов не много. Все просто, кроме... его Метафизики» [7, с. 21].

Если Кант и не изменил ничего в умонастроении Карамзина, то во всяком случае укрепил его убеждение в непреходящем значении «закона, написанного в сердце», равно как и поддержал скептическое отношение к амбициозным метафизическим конструкциям.

Теперь Карамзин едет к самому Шарлю Бонне, который, кстати говоря, в последние годы жизни тоже изучал философию Канта и оставил несколько заметок, посвященных «Критике чистого разума» [15, р. 345].

Особую значимость и притягательность Бонне придавало в глазах современников то обстоятельство, что он был и авторитетным биологом, экспериментально исследовавшим полипы (пограничье между минеральным и растительным миром!), и философом-метафизиком, обращавшим свой умственный взор в сверхчувственный мир.

В этом отчасти его сходство со Сведенборгом, и, возможно, отнюдь не случайно такой знаток мистической книжности XVIII века, как Шарль Нодье, ставит Бонне в один ряд со шведским геологом-духовидцем, а также с Сен-Мартеном и Балланшем [15, р. 153]. А в одном из частных писем, датированном 22 июня 1832 года, Нодье причисляет к мыслителям, оказавшим на него наиболее сильное и благотворное влияние, «мудрецов Индии», Пифагора, Шарля Бонне и Канта [15, р. 153]. Таким образом, имя Бонне неизменно присутствует в двух перечнях великих мыслителей, записанных Нодье в разные годы...

То, что несколько смущало Карамзина у Бонне, – термины вроде «седалища души» (*les sièges de l'âme*), «органическая машина» и т.п., было, конечно, прежде всего наследием картезианства. Но в его лексиконе полные права сохранялись и за аристотелевской Первопричиной, проявлялось знакомство с Лейбницем. Природу Бонне все-таки склонен был понимать как механизм, запущенный Первопричиной, и потому для свободы человека как «психоморальной машины» оставлял не много простора... А Карамзин, конечно, интуитивно догадывался, что без «метафизики свободы» философские конструкции оказываются пустой игрой ума...

Личные встречи с автором «Созерцания природы» были у Карамзина весьма теплыми и эмоциональными, но вряд ли многое прибавили для разумения его философии. Однажды за обедом Бонне назвал себя «пифагорейцем», с большой похвалой отозвался о поэме Галлера, посвященной происхождению зла... [7, с. 185]. Вот и все. Карамзин резюмировал: «Философ с чувством»... Перед ним и Кантом «Платон в рассуждении философии есть младенец» [7, с. 212]. Ни больше, ни меньше...

Но что же все-таки оказалось значимым в *метафизическом* плане? По-видимому, идея *непрерывности* индивидуального бытия и *физиогномия народов*.

О том, что было для Карамзина особенно привлекательным в Бонне, мы узнаем из «Писем русского путешественника» по пространной цитате из... Гердера, где речь идет о *смерти*. Вот лилия «истлела в неутомимом служении Натуры...», но она не погибла, «сила корня ее существует; она вновь пробудится от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте, подле милых дочерей бытия своего, которые стали ее подругами и сестрами. И так нет смерти в творении; или смерть есть не что иное, как *удаление того, что не может быть доле, то есть действие вечно юной неутомимой силы*, которая по своему свойству не может ни минуты быть праздною или покоиться» [7, с. 72].

Непрерывность жизненных форм, вечное возрождение, *палингенезия*, относящаяся не только к родам и видам, но и индивидам – этими идеями Гердер, как и Гете, вдохновлялся, читая Бонне [15, р. 341; 5, с. 273].

И беседы с Гердером у Карамзина получились несколько более содержательными. Карамзин прямо нигде не пишет, что читал «Идеи к философии истории человечества». Но к моменту посещения им Веймара вышло уже три из четырех томов этого масштабного сочинения, и уж хотя бы по названию оно должно было быть Карамзину известно. Вот именно в этих «Идеях...» мы и встречаемся с достаточно мотивированным соприкосновением *метафизики* (в духе Бонне) и *историософии*.

На первый взгляд кажется, что Гердер здесь скорее *отмежевывается* от Бонне, чем следует ему. «И так называемая философия зародышей Бонне, – пишет он в связи с идеей бессмертия души, – не сможет повести нас за собою, потому что отчасти она относится к переходу человека в новое бытие, и в этой своей части не доказана, а отчасти она говорит совсем о другом. Никто еще не открывал в человеческом мозге мозг духовный – зародыш будущего человеческого существования; и хотя бы самый незначительный аналог ему нельзя увидеть в строении мозга» [4, с. 114].

Примерно такими же критическими замечаниями о Бонне делился Карамзин в письме к Лафатеру (1788), которое цитировалось выше. Но не *механизм* перехода в вышеестественное состояние был привлекателен в сочинениях Бонне как для Карамзина, так и для Гердера. Представление об «органической силе», внутренней связи разных форм и уровней бытия – вот что их в самом деле завораживало.

«Кто бы подумал, – пишет Гердер в тех же “Идеях...”, – что в облике гусеницы скрывается бабочка? Кто бы узнал, что гусеница и бабочка – это одно и то же существо, если бы это не доказывал опыт? А ведь эти две различные формы существования – это два возраста одного и того же существа, на одной и той же земле, где круг органического творения все время начинается заново, – сколь же прекрасные превращения скрывает лоно природы, если круг органического творения шире, а возрасты охватывают не один мир! Итак, надейся, человек, и не пророчествуй – вот твой венец, спорь о нем. Отбрось все нечеловеческое, стремись к истине, благу и богоподобной красоте, и ты достигнешь своей цели» [4, с. 134].

Это не повторение *палингенезии* Бонне, но несомненные вариации на его темы. Очень органично сюда включена и тема *бессознательного (сна)* и *сознания*. «Этой аналогией со *становящимися*, то есть переходящими от состояния к состоянию существами, природа показывает нам, почему и непробудный сон вплела она в жизнь своих существ. Сон – благодатное забвение, охватывающее живое существо, органические силы которого стремятся выйти наружу в новом облике. Само существо со своим малым сознанием недостаточно сильно, чтобы обозреть всю борьбу форм, чтобы управлять ею, – и вот оно засыпает, а просыпается уже в ином виде» [4, с. 134].

Вот здесь и берет начало *философия человеческой истории*. Гердер проникнут идеей положительного, поступательного развития человечества, осуществляемого по неисповедимым путям Провидения. И прогресс этот, согласно его представлениям, заключается в *развитии сознания*, которое потенциально способно *управлять* борьбой форм.

Суть подобной «философии истории», по скромной ремарке Гердера, мог бы изложить «второй Монтескье»: от него мы ждали бы «не отрывочных сведений, относящихся к разным народам, временам и странам, потому что даже Гений земли не построит целого из такого хаотического беспорядка, – но мы ждали бы философского и живого изложения гражданской истории» [4, с. 251].

Разве не была бы такая *философская история* шагом в развитии человеческого сознания и самопознания? И разве не хотел быть таким «вторым Монтескье» сам Карамзин?

В «Письмах русского путешественника», рассказывая о посещении Эрменонвиля, где жил на склоне лет Руссо, Карамзин описывает храм *новой Философии*, на колоннах которого одни оставляют записи о несовершенстве человеческого ума, а другие выражают надежду, «что разум в школе веков возмужает» [7, с. 308].

Хотя «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» Кондорсе тогда еще не был написан, но его идеи давно носились в воздухе – примером тому даже Кант! – и Карамзин не был к ним равнодушен. В их распространение внес вклад и Гердер, который в своих «Идеях...», между прочим, много внимания уделил значению *традиции* как таковой и особенно *религиозной*: «нельзя отрицать, – писал он, – что *только религия принесла народам науку и культуру и что культура и наука в первое время были просто особой религиозной традицией*» [4, с. 253].

До Огюста Конта отсюда – один шаг, но он все-таки еще не сделан. И сам Гердер не порывает с Провидением, и для Карамзина изучение «тра-

диций» – не столько задача «объективной науки», сколько опыт познания себя – *в ином*.

После первой беседы с Гердером Карамзин зашел в церковь Св. Якова, чтобы «видеть там на стене барельеф покойного Профессора Музеуса, сочинителя *Физиогномического Путешествия и Немецких народных сказок*» [7, с. 73]. Есть какой-то глубинный смысл в этом акте! Ведь гердеровская проблематика «философии истории» конкретизируется для Карамзина в немалой мере именно через изучение *физиогномических* особенностей европейских народов, отпечатавшихся в их быте, традициях, истории... Через их изучение актуализируются и вопросы *русской исторической психологии, истории русского самосознания*.

В «Письмах русского путешественника» немало сравнений с Россией и даже интенций использовать европейский исторический опыт в ее интересах. Но Карамзин нуждался и в более основательном погружении в отечественную историю, его все больше влечет к себе *историческая конкретность*. Начало царствования Александра I знаменовалось для него принципиальным изменением некоторых оценок и общей ориентацией на *историческое самопознание*. В 1801 году он написал «Историческое похвальное слово Екатерине II» и задумал свою «Историю государства Российского», к работе над которой приступил в 1803-м, получив звание «историографа» и денежную поддержку («пенсию»).

А в 1802 году Карамзин опубликовал статью «Приятные виды, надежды и желанья нынешнего времени». Она отчасти прообразует «философическое законоведение» александровской эпохи, реализовывать которое будет не в последнюю очередь М.М. Сперанский, – но не в духе идеалов Карамзина, который стоял за принцип *личной власти*, за «национального диктатора» (используя термин И.А. Ильина). И в этом плане его вполне устраивал «Бонапарте», но не его законотворческая деятельность.

Карамзин четко фиксирует необходимость уйти от подражательности в отношении к Западной Европе и сознательно встать на свой, исторически осмысленный, путь: «Указы отца отечества, императрицы Анны, Елисаветы, особливо Екатерины Великой решат все важнейшие вопросы о людях и вещах в порядке гражданском: нужна только философическая метода для расположения предметов; но совершение сего дела будет славно для монарха и государства. Метода и порядок заключают в себе какую-то особенную силу для разума, и судья, обнимая одним взором систему законов, удобнее впечатлевают их в душу свою. Тогда мы не позавидуем Фридрихову (вновь исправленному) кодексу; не позавидуем умному плану французского [кодекса] и пожалеем об англичанах, которых судилища беспрестанно запутываются в лабиринте несогласных установлений (writs), служащих им правилом. Великая Екатерина даровала нам систему политических уставов, определяющих права и отношения состояний к государству. Александр дарует нам систему гражданских законов, определяющих взаимные отношения граждан между собою. Тогда законоведение будет наукою всех россиян и войдет в систему общего воспитания» [8, с. 273–274].

Эта ориентация на *национальное достоинство*, по убеждению Карамзина, совершенно чужда попыткам безосновательного самовосхваления и превознесения над другими нациями. Он как будто предвидит, что в среде будущих «славянофилов» и «москвофилов» могут появиться настроения, именуемые в аскетической книжности «прелестными». Патриотизм, пишет Карамзин, «не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть; и, жалея о тех людях, которые смотрят на вещи только с дурной стороны, не видят никогда хорошего и вечно жалуются, мы не хотим впасть и в другую крайность; не хотим уверять себя, что Россия находится уже на высочайшей степени блага и совершенства» [8, с. 273].

Уже в этом тексте видно, однако, что Карамзин большого упования на законотворчество не возлагает: законы собственно нужны, чтобы «образовать сердце» россиян, да и сама история нужна только для «раскрытия великих способностей души человеческой» [9, с. 176].

Работа над «Историей государства Российского» мотивировала его на критические суждения, на уяснение особенностей русской психологии и попытки применить исторический опыт к современной ситуации.

Между тем, Александр I вел строительство «Новой России» совсем не в духе тех пожеланий, которые высказал Карамзин в статье «Приятные виды». В лице бывшего семинариста М.М. Сперанского молодой государь нашел интимного идейного союзника, энергического законотворца и мистического философа, ориентированного все-таки именно на французскую линию. Автор прекрасной книги о Сперанском как религиозном метафизике был неправ, пожалуй, только в одном – в том, что принципиально *отделил* государственную деятельность Сперанского от его мистических интересов [10, с. 135]. Связь же здесь, несомненно, есть, но к ее выявлению глаз должен быть подготовлен.

Подобно Н.М. Карамзину прошедший увлечение Вольтером и Монтескье, даже одно время преподававший философию в Александро-Невской семинарии, М.М. Сперанский в начале XIX столетия испытывает глубокое влияние мистической книжности – и тоже преимущественно французской, регулярно читает «Сионский вестник» А.Ф. Лабзина. Рекомендации по кругу чтения ему дает один из влиятельных членов новиковского кружка И.В. Лопухин – зодчий *Юнгова острова...*

М.М. Сперанский в известном смысле становится «мартинистом», быть может, гораздо более убежденным и последовательным, чем был в свое время Н.М. Карамзин. В 1810 году он принят в масонскую ложу Фесслера, не имевшую «ни имени, ни состава, ни учреждения, свойственного ложам» [13, с. 308], что, впрочем, скорее настроило против него русских масонов старшего поколения: опала Сперанского (1812) и удаление Фесслера из Петербурга (1811) почти совпали по времени...

Принципиально важно, что для М.М. Сперанского во всех случаях важнейшим ориентиром оставался «галльский ум», в область метафизики он входит с теми же мыслительными парадигмами, что и в сферу законотворчества. При всех издержках Франция для него остается ориентиром в плане «прогресса ума», реализации разумного начала в обществе и рационального познания мира духовного. И он, и его августейший покровитель были далеки как от мыслей о самобытном развитии российской государственности, так и от страхов, основанных на ощущении внутренней связи галльской ментальности с Французской революцией.

Справедливо было отмечено, что, оставив после опалы теоретическое изучение мистицизма, он стремился усвоить его сердцем, но «прежний теоретик сказывался еще в обилии рассуждений и в более рассудочном, чем сердечном, отношении к делу» [10, с. 141]. И религию М.М. Сперанский понимает *номистически*, как «закон, установленный Богом для отделения добра от зла в духовном мире» [10, с. 313]. Но при этом он до конца жизни пребывает в убеждении, что разум «не дан был человеку от Бога, человек сам себе его присвоил» [10, с. 304]. Вот такой показательный *неоаполлинаризм* мистика-законоведа и государственного реформатора – и вопиющее противоречие с его реформаторской деятельностью, на этом «украденном разуме» и основанной...

Как подметил И.В. Катетов, читая в конце жизни курс юридических наук наследнику престола, Сперанский, «сам реформатор, возбудил ту же жажду к реформам и в своем царственном питомце» [10, с. 303]. Разойдясь в свое вре-



мя с Александром I, он много лет спустя нашел взаимопонимание с его внуком, будущим императором Александром II, царствование которого «было ознаменовано такими реформами, о каких Сперанский и не думал» [10, с. 303].

Для Александра I разрыв с М.М. Сперанским почти совпал с усилением мистических настроений, которые на еще не ослабшей волне общественно-преобразовательного пафоса привели к провозглашению Священного союза, а затем остудили внешний активизм – и вновь сблизили императора с его историографом. Но это произойдет лишь в последние семь лет жизни Карамзина... В эту эпоху у Александра I проявляются эсхатологические настроения. Сперанскому эсхатология и историософия не интересны. И с Карамзиным он не находит общих позиций. «Сперанский холоден со мною как лед: едва говорит, и то уже в случае необходимости; к нам не ходит, и я к нему не хожу. Отчего такая немилость, не знаю», – писал Карамзин И.И. Дмитриеву 15 августа 1821 года [7, с. 313].

Убеждения же *русского путешественника* после близкого знакомства с Европой постепенно укреплялись в направлении, совершенно противоположном какой-либо *галломании*. Карамзин, конечно, не отбросил своего опыта общения с европейской культурой, но Россия для него – прежде всего *самостоятельный организм*, привитие к которому чужеродных начал представляется делом весьма опасным. Да и вообще любые решительные перемены в обществе ему кажутся предвестиями революционных бурь...

Материал для «Записки о древней и новой России» (1811) [6] подготавливался не только занятиями российской историей, но и некоторым образом «мысленным спором» с венценосным реформатором и его ближайшим сподвижником М.М. Сперанским. Это сочинение Карамзина по своей дерзновенности и местами даже дерзости занимает исключительное место не только в его литературном наследии, но и вообще во всей русской литературе XVIII – первой половины XIX века. Читая его, невольно изумляешься, какой выдержки потребовало знакомство с ним у Александра I.

Вот характерные оценки русских самодержцев: «Петр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных. Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного». «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр».

Павел I «начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким Уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг».

Но это – о *прошлом*. Главное же – оценка преобразовательных инициатив, получивших одобрение самого Александра I, отвечавших его идеальным устремлениям. Характеристики этой деятельности даются Карамзиным порой совершенно беспощадные и уничижительные.

«Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: от того – изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся – только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны».

Советы, даваемые здесь императору, лишены придворных экивоков и дипломатичных умолчаний. Карамзин сознательно прямолинеен. Россия «благодарит» Александра, если он «будет осторожнее в новых государственных творениях, стараясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, нежели о формах, ежели благоразумною строгостью обратит вельмож, чинов-

ников к ревностному исполнению должностей; если заключит мир с Турцией и спасет Россию от третьей, весьма опасной, войны с Наполеоном, хотя бы и с утратою многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь сильных государств и не равняется с первым их благом, или с целостью бытия; если он, не умножая денег бумажных, мудрою бережливостью уменьшит расходы казны и найдет способ прибавить жалованья бедным чиновникам воинским и гражданским; если таможенные Уставы, верно наблюдаемые, приведут в соразмерность ввоз и вывоз товаров» и т.д. [6, с. 109–110].

Отнюдь не случайно Карамзин в конце записки резко высказывается о *французской системе* – он хорошо знает, что в ней в первую очередь находит вдохновение новое законотворчество. «Переменит ли Франция свою ужасную систему, или Бог переменит Францию, – неизвестно, но бури не вечны!». Галломания и «либеральный петринизм» кажутся ему очередной попыткой «привить» России западные формы организации государственной жизни.

Относительно войны с Наполеоном предупреждение Карамзина было как нельзя более своевременным, однако Александр I был связан и династическими узами, и постепенно вызревавшими мистическими настроениями, которые в конечном счете получают выражение в Священном союзе. И император, и Карамзин в 1810-х годах каждый по-своему связывают высокое теоретизирование, «метафизику» и «историософию», в интересах блага Отечества. Но понять друг друга они не могли, и «Записка о древней и новой России» на время отдала историографа от царя.

В самом деле, эта попытка отразила некоторый социальный скептицизм Карамзина, мощный импульс которому дала Французская революция. Он не столько предлагает императору, *что сделать*, сколько говорит о том, *чего не делать...*

Да, «со времен Петровых упало духовенство в России». Но что может выправить положение? «Не предлагаю восстановить Патриаршество, – пишет Карамзин, – но желаю, чтоб Синод имел более важности в составе его и в действиях; чтобы в нем заседали, например, одни архиепископы; чтоб он, в случае новых коренных государственных постановлений, сходился вместе с Сенатом <...> Ныне стараются о размножении духовных училищ, но будет еще похвальнее закон, чтобы 18-летних учеников не ставить в священники и никого без строгого испытания, – закон, чтобы иереи более пеклись о нравственности прихожан, употребляя на то данные им от Синода благоразумные, действительные средства, о коих мыслил и государь Петр Великий. По характеру сих важных духовных сановников можете всегда судить о нравственном состоянии народа. Не довольно дать России хороших губернаторов – надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе» [6, с. 109].

В целом же задача Карамзина – сохранить социальную устойчивость, в том числе, привилегии дворянства. «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных – ныне имеют навык рабов» [6, с. 73].

Карамзин остался убежденным противником конституционалистских и либеральных идей Александра I и в дальнейшем. В этом плане его убеждения не изменялись. «Карамзин, – пишет В.А. Китаев, – оказался в ряду тех, кто решительно не согласился с политикой Александра I в польском вопросе. Не только дарование конституции Царству Польскому, но и намерение императора включить в его состав Литву и западные губернии вызывали у него чувство протеста» [11, с. 187]. Но отношение самого императора к историографу становится все более теплым, несмотря на отдельные расхождения во взгля-

дах, и их взаимная близость усиливается по мере укрепления в Александре религиозного умонастроения.

\* \* \*

В письмах к И.И. Дмитриеву в последние годы жизни Карамзин предельно откровенно и точно расставляет акценты относительно своих умонастроений. Его и так уж не слишком глубокие *метафизические интересы* еще более отступают на второй план перед смиренной верой в *Провидение*.

Несколько загадочно звучат его слова в письме 1820 года: «Чувство к Природе еще живо в моем сердце, несмотря на чистый идеализм моей Философии» [12, с. 284]. Их можно интерпретировать в том ключе, что Бонне полностью потерял для него привлекательность, к Шеллингу он не успел проникнуться доверием, а в центре внимания остались только проблемы *свободы и нравственной ответственности*.

Впрочем, мы имеем весьма любопытное свидетельство в его письме от 27 февраля 1822 года: «Я уже опять ленюсь дома, – пишет он И.И. Дмитриеву, – и читаю немецких метафизиков, за которых не поскупился заплатить Грефу двадцати рублей. Снова завожу библиотеку для себя и для детей...» [12, с. 324].

О ком идет речь? Какие авторы занимают теперь его внимание? Однозначного ответа нет. Но все же, с учетом других свидетельств, скорее всего Карамзин имеет в виду *метафизику нравов*...

Историк все больше приучает себя жить *сегодня*. «Правило жить день за день есть верх мудрости, до которого желаю достигнуть. Я очень, очень счастлив, когда умом и сердцем нейду вдаль; когда жена, дети и друзья здоровы, а пять блюд на столе готовы. Заглянуть в умную книгу, подумать, иногда поговорить не глупо: вот роскошь! К ней можно прибавить и работу, без всякого отношения к славолюбию. А на том свете... то ли будет? Вот рецепт, который пишу для себя ежедневно, но которой не всегда вылечивает меня от меланхолических припадков» [12, с. 256].

В этом рецепте есть нечто сродное кантовской *метафизике нравов*, во всяком случае, в том ее кратком итоге, который зафиксирован в «Письмах русского путешественника». Заметна у Карамзина и отрицательная настроенность к *внешней* мотивации нравственной деятельности, к так называемой *гетерономии*, проявляющейся, в частности, в этике *эвдемонизма*, стремлении «заслужить счастье». В письме от 20 сентября 1824 года он замечает: «написал я некогда в Albit своей ближней: “желаю тебе быть достойною счастья еще более, чем быть счастливою”» [12, с. 380].

Как это напоминает не только Канта, но и просто перипатетическую этику, усвоенную даже схоластикой: «не следует кому-либо желать самого прелатства, – писал в XIV веке Эгидий Римский, ученик Фомы Аквината, – но нужно желать быть достойным прелатства»...<sup>1</sup> Несложно разглядеть здесь связь с мотивом *бескорыстия*, личной «незаинтересованности», идущим от Евангелия (1 Кор. 13: 5) и в XVIII веке особенно рельефно раскрытым Фенелоном и Кантом. Карамзин, конечно, всем сердцем с ними: «Вопреки Гельвецию, – пишет он 2 сентября 1825 года, – любовь бескорыстна» [12, с. 402].

*Свою нравственную метафизику* Карамзин иной раз готов даже именовать *мистикой*, что на самом деле не является большим произволом: *метафизическое* как относящееся к *сверхчувственному* всегда так или иначе облечено таинственностью. В 1823 году он пишет И.И. Дмитриеву: «Я не люблю быть предметом зависти: это значит портить людей. Всего безгрешнее, надежнее и

<sup>1</sup> Эгидий Римский. Ошибки Петра Оливи, § 18. Цит. по [2, с. 313].

спокойнее наслаждаться внутренне, и там, где другие жалеют об нас почти с презрением. Вот моя Мистика!» [12, с. 351].

Чувство *внутренней христианской свободы* наряду с историческими образами ее социального осуществления (новгородское вече, швейцарская республика) подчиняется у Карамзина сознанию необходимости *личного единодержавия*: «по чувствам, – пишет он, – остаюсь республиканцем, и притом верным подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое» [12, с. 249]. Это чувство сближает его с самим Александром I! Он ведь тоже «по чувствам», из соображений «*христианской метафизики свободы*», был если не республиканцем, то *конституционалистом*, дал конституцию Польше и Финляндии...

*Провидение* теперь становится ведущим мотивом высказываний Карамзина. «Я стараюсь, – пишет он И.И. Дмитриеву, – ничего не желать, кроме добра Царю и Отечеству; не умничать, не предсказывать, не предвидеть, а все оставлять на волю Божию» [12, с. 254]. 6 октября 1819 года, сообщая о семейных заботах и тревогах, Карамзин резюмирует: «Утешаюсь единственно мыслию о Провидении» [12, с. 273]. А спустя два с половиной года, 4 мая 1822 года, он вновь повторяет: «мысль о Провидении дает спокойствие душе моей» [12, с. 328]. 30 декабря 1824 года Карамзин пишет Дмитриеву: «Я уверен, что Россия не погрязнет в невежестве, то есть уверен в милости Божией» [12, с. 388].

Вся *метафизика* и *историософия* Карамзина сосредоточились в конечном счете на *повседневном нравственном делании* во благо семьи, Царя и Отечества. И хотя в основном заботы ума Карамзин подчиняет благоусмотрению Высшего Разума, ему все же хочется довершить свою историческую деятельность «с некоторою полнотою духа, живостью сердца и воображения». «Близко, близко, – продолжает он, – но еще можно не доплыть до берега. Жаль, если захлебнусь с пером в руке до пункта или выпадет из руки от какого-нибудь паралича. Но да будет воля Божия!» [12, с. 381].

## Литература

1. Гаврюшин Н.К. Мистический неозллизм и идеал «эстетической Церкви»: Ф. Бутервек и Ф. Гёльдерлин // Вопросы философии. 2005. № 3. С. 140–148.
2. Гаврюшин Н.К. Непогрешимый богослов: Эгидий Римский и теологические споры в Западной Церкви (конец XIII – начало XIV вв.). М.: Драккар, 2006.
3. Гаврюшин Н.К. Юнгов остров: Религиозно-исторический этюд. М., 2001.
4. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977.
5. Гете И.В. Избранные философские произведения / Под ред. Г.А. Курсанова и А.В. Гулыги. М.: Наука, 1964.
6. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.
7. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984.
8. Карамзин Н.М. Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени // Карамзин Н.М. Избр. соч.: в 2 т. М.; Л.: Художественная литература, 1964. Т. 2.
9. Карамзин Н.М. Соч.: в 2 т. Л.: Художественная литература. 1984. Т. 2.
10. Катетов И. Граф Михаил Михайлович Сперанский как религиозный мыслитель. Казань, 1889.
11. Китаев В.А. Николай Михайлович Карамзин // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2005.
12. Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866.
13. Пыпин А.Н. Исторические очерки: Общественное движение в России при Александре I. 4-е изд. СПб., 1908.
14. Devillairs L. Fénelon, une philosophie de l'infini. Paris: Le Serf, 2007.
15. Savioz R. La philosophie de Charles Bonnet de Genève. Paris, 1948.

*Аннотация.* Статья посвящена изучению взаимосвязи метафизических и историософских воззрений Н.М. Карамзина в контексте его общения с западноевропейскими мыслителями и изучения специфики политической организации русского общества. Отмечено, что изначальные интересы Карамзина в области метафизики были сосредоточены преимущественно на духовно-нравственной проблематике и мало связаны с мистической книжностью русских мартинистов, с которыми он находился в тесном контакте. В то же время, «Новая Киропедия» Э. Рамзея вполне могла сказаться на его историософских интересах, в центре которых постепенно оказались судьбы русского государства и его христианской культуры. Своим выводам Карамзин пытался придать и политическую актуальность, но не встретил понимания со стороны высшей власти. В последние годы жизни русский историограф все больше возвращается к вечным вопросам «метафизики нравов» и с этих позиций смотрит на судьбу Отечества.

*Ключевые слова:* метафизика, историософия, мартинизм, русский европеизм, галломания.

Nikolay Gavrushkin, Ph.D. in Philosophy, Professor, Moscow Theological Academy.  
E-mail: bogomysl@yandex.ru

#### **Metaphysics and Philosophy of History in the Work of N. M. Karamzin**

*Abstract.* The article is devoted to the study of the correlation of Karamzin's metaphysical and philosophic historical views in the context of his contacts with West-European thinkers and the study of Russian society political organization specifics. The author notes that Karamzin's initial metaphysical interests were focused on religious and moral problems and hardly linked with the mystical book-learning of Russian Martinists with whom Karamzin was in close contact. At the same time E. Ramsay's "New Kiropedia" seemed to have influenced Karamzin's interests in historical philosophy, and gradually the destiny of Russian state and Christian culture became the centre of his attention. Karamzin tried to give political relevance to his conclusions, but found no sympathy or understanding among the ruling elite. In his late years the famous Russian historiographer was more and more turning to the eternal problems of "metaphysics of the morals" and on this basis assessing the destiny of his Motherland.

*Keywords:* Metaphysics, Philosophy of History, Martinism, Russian Europeanism, Francophile.

*М.А. Маслин*  
*Консервативный поворот в истории идей*

*С.В. Хатунцев*  
*Новый Петров-Водкин, или Купание педального коня*



## Консервативный поворот в истории идей

Выход в свет альманаха «Вопросы истории консерватизма» (Воронеж, 2015) можно назвать знаменем времени<sup>1</sup>. Хорошо подготовленная публикация с портретами русских консерваторов на обложке выпущена Центром по изучению консерватизма. За последние годы в Воронеже вышла целая серия монографических работ, посвященных отечественному консерватизму [11; 18; 8; 5]. Сюда следует добавить издания текстов классиков русского консерватизма, в том числе сочинения Н.М. Карамзина, А.С. Шишкова и А.С. Пушкина, А.А. Аракчеева, М.Л. Магницкого и Ф.В. Растопчина, Г.Р. Державина и В.А. Жуковского, А.С. Шишкова и С.С. Уварова [3; 6; 10; 12; 14; 20]. Составилась целая библиотека трудов воронежских, московских и петербургских ученых, среди которых выделяется фундаментальная «Энциклопедия русского консерватизма» [15]. Есть все основания констатировать, что в освещении отечественной интеллектуальной истории произошел историографический «консервативный поворот»: былой интерес к революционным и либеральным идейно-политическим течениям сменился, и явный перевес получили идейные течения, персоналии и сюжеты, связанные с историей русского консерватизма.

Консервативный поворот не является новостью, чем-то небывалым в отечественной истории идей: согласно известной формуле «в молодости мы бываем реформаторами, в старости – консерваторами». Пример – идейная эволюция Н.М. Карамзина, который в свои двадцать три года в «Письмах русского путешественника» – симпатизант республиканизма и Просвещения, а в «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», написанной в пятидесятилетнем возрасте, – монархист, провозгласивший, что «самодержавие есть палладиум России». Владимир Соловьев в молодости был вольнодумцем, нигилистом и атеистом, прежде чем стать христианским философом, а Николай Бердяев, как известно, совершил эволюцию от социализма и членства в «Киевском союзе борьбы за освобождение рабочего класса» к антикоммунизму. Однако всё это – индивидуальные, личностные примеры, тогда как постсоветский консервативный поворот – явление идеологическое и социальное.

Альманах «Вопросы истории консерватизма» – наглядное отражение сдвига в общественном сознании, резкого возрастания интереса к отечествен-

<sup>1</sup> Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1 / Ред. колл.: А.Ю. Мишков, С.В. Хатунцев, Н.Н. Лупарева, А.О. Мещерякова. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. 416 с.

Маслин Михаил Александрович, доктор философских наук, заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: mmaslin@yandex.ru





ным идейным течениям консервативного направления. Этот интерес объясняется прежде всего реакцией на «упростительное смешение» глобализации: чем резче происходят разрывы с важнейшими ценностями православной цивилизации, тем активнее стремление опереться на собственные традиции, которые были насильственно пресечены в советский период. Падение и Российской империи, и советской государственности следует оценивать в сфере духа.

Инстинкт собственного цивилизационного выживания России сокращался, утрачивался и, подобно шагреновой коже, заменялся инстинктом «европейничанья» по аналогии с «обезьянничаньем» (образ Данилевского). Россия всё дальше и дальше во времени и пространстве старалась казаться не тем, чем являлась, относя себя к референтной цивилизационной группе Запада.

В последнее же десятилетие XX века, осознав свою отсталость по части институтов либеральной демократии и правового государства, Россия стала настолько быстро ускоряться в подражании Западу, что превратилась в его своеобразное «кривое зеркало». Отсюда в «аксиологии и феноменологии» русского консерватизма наблюдается производство различного рода рецептов-противовесов глобализации и западнизации. В них ищут ответы на вопросы: что следует «консервировать», чтобы не потерять цивилизационное российское своеобразие; как «это» назвать и как создать подходящую политическую партию, которая была бы призвана возглавить этот процесс? А.А. Ширинянц отмечает, что политической риторикой консервативного толка так или иначе охвачена большая часть российского политического спектра. К сожалению, эта риторика, как правило, не идет дальше конструирования партстроителями различных определений и причастных оборотов, где определяемое слово – консерватизм с добавлениями «социальный», «динамический», «продуктивный» и т.п. В целом же консерватизм в «партийном исполнении» еще далек от своего оформления в современной России.

Русский консерватизм – это прежде всего совокупность истории консервативных идей и традиций, не случайно А.С. Хомяков подчеркивал, что «приют торизма в России – это черная изба крестьянина». Такая специфика отечественного консерватизма отражена и в рецензируемом альманахе.

Партии и политические организации консервативного и националистического направления, такие как Союз русского народа, Русский народный союз имени Михаила Архангела, Русский монархический союз, Всероссийский национальный союз, появились в политической истории России лишь в начале XX века и не создали сколько-нибудь реально-влиятельных политических и экономических программ, способных укрепить монархию. «Трагедия русского консерватизма во многом заключалась в том, что правым удавалось справедливо критиковать своих политических противников, находить слабые места в их программах, прогнозировать разрушительные для монархии последствия, к которым вели действия оппозиционного лагеря, но они не смогли предложить действенные рецепты для выхода страны из системного кризиса и спасения монархии от краха» [2, с. 331]. Наряду с «официальными» правоконсервативными организациями в России существовали и «неофициальные» структуры в виде салонов, кружков и тому подобных неформальных объединений, особенно умножившиеся в Петербурге-Петрограде в начале XX века: салоны князей В.П. Мещерского, М.М. Андроникова, доктора П.А. Бадмаева и др. Однако исходившие из этих кругов записки и проекты, как правило, не пользовались вниманием царя, а самое большее, чего иногда добивались консерваторы-неформалы, – продвижение «своих людей» на государственные должности [16, с. 342].

Авторы альманаха – ведущие российские специалисты по истории русского консерватизма, – как представляется, вполне согласны в том, что «в России может существовать только “русский”, “российский” консерватизм [19, с. 361].

Поэтому основное содержание альманаха составляет аналитическое изложение различных идейных форм отечественного консерватизма, представленное в двух центральных разделах книги: «Становление русского консерватизма: идейные истоки, философско-религиозные взгляды, общественно-политическая деятельность» и «Развитие русского консерватизма накануне и в годы Первой мировой войны». Особо следует выделить опубликование А.А. Ивановым и А.В. Репниковым двух статей консерватора Клавдия Никандровича Пасхалова, написанных в 1914 году и не потерявших своего геополитического значения. Пасхалов еще в 1908 году предупреждал, что «у несомненно умных и дальновидных государственных людей Англии явилась мысль одно препятствие сокрушить другим и сделать попытку заставить Россию и Германию разбиться друг об друга и разом освободиться от обоих конкурентов» [1, с. 382].

Библиотека русского консерватизма постоянно пополняется новыми исследованиями, как правило, основанными на архивных источниках. Подтверждением тому является рецензия известного леонтьеведа С.В. Хатунцева на одну из лучших книг по русскому консерватизму, написанную О.Л. Фетисенко. Ценнейшая книга Фетисенко о собеседниках и учениках К.Н. Леонтьева, удостоенная Бердяевской премии за 2014 год, справедливо названа «крупнейшим фундаментальным трудом в области леонтьеведения в последние годы» [18, с. 399]. Другая рецензия посвящена ценному историческому труду А.А. Иванова, в котором на основе анализа архивных источников сделан вывод об общей «апатии, деградации, распаде правого лагеря», который в 1914–1917 годах представляли «паралитики власти» [7, с. 414].

Новые материалы, характеризующие самого влиятельного русского консерватора XIX века, представлены А.Э. Котовым, который определил взгляды Каткова как «бюрократический национализм», имея в виду, очевидно, то, что статьи М.Н. Каткова и его окружения в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» адресовались не столько тысячам подписчиков, сколько непосредственно правящей бюрократии [36, с. 174].

В научной литературе наблюдается естественное стремление расширить круг носителей консервативных идей за счет новых персоналий и движений, что предполагает реабилитацию оболганных в большевистской печати представителей широкого черносотенного движения, имевшего своих сторонников во всех сословиях русского общества. До сих пор не принято упоминать членство в массовой партии «Союз русского народа» великого русского ученого Д.И. Менделеева, выдающегося государственника, чье наследие несомненно принадлежит к традиции русского консерватизма. В статье И.В. Омелянчука дан критический анализ разного рода мифов о черносотенном движении, в том числе мифа об антисемитизме как его ведущей идеологии [12, с. 297–298].

Однако к идейным консерваторам причисляют также и некоторых деятелей церкви, не оставивших после себя сколько-нибудь значительных сочинений, но прославившихся на монашеском поприще. Подобный «перебор», возможно, уместен в трудах церковных историков, но для светского исследования он является натяжкой. Примером такого подхода является статья Ю.Е. Кондакова, посвященная архимандриту Фотию, настоятелю Юрьева монастыря, который назван «ярким выразителем взглядов партии русских консерваторов» [3а, с. 67]. Это ему посвящена эпиграмма А.С. Пушкина:

Полу-фанатик, полу-плут;  
Ему орудием духовным  
Проклятье, меч, и крест, и кнут.  
Пошли нам, господи, греховным  
Поменьше пастырей таких, –  
Полу-благих, полу-святых.

Фотий был одним из тех, кто с полным на то основанием был причислен в XIX веке к реакционерам, а не к консерваторам, и подтягивать его чуть ли не к теоретикам консерватизма – значит спорить не только с Пушкиным, но и с Достоевским, который вывел Фотия в карикатурном образе постника и аскета Феропонта в романе «Братья Карамазовы».

Появление течений консервативного типа было обусловлено спецификой русской цивилизации, которая как архетип сформировалась в XI–XVII веках [13, с. 12]. Предысторию русского консерватизма, повлиявшую на ее развитые формы, созревшие в XIX–XX веках, составили идеи о Руси как особой цивилизации, хранительнице православия и представления о необходимости сильной государственной власти, которая способна в союзе с церковью «повести Россию и к земному величию, и к посмертному спасению» [13, с. 31]. Эту государственно-ориентацию русского консерватизма, связанную с обоснованием идеи самодержавия, наиболее ярко выразил Н.М. Карамзин в своей «Записке о древней и новой России» (1811). В качестве предшествующих карамзинской консервативной концепции в альманахе рассматриваются построения адмирала А.С. Шишкова и С.Н. Глинки, издателя «Русского вестника», где печатались сочинения видных консерваторов – Ф.В. Растопчина, А.А. Аракчеева, Г.Р. Державина и др. [4, с. 47]. В свою очередь, концепция самодержавия Карамзина оказала огромное влияние на С.С. Уварова, который представлен А.Ю. Минаковым как «прямой наследник Карамзина» [10а, с. 39]. Характерной чертой отечественной консервативной идеологии, свойственной вслед за Н.М. Карамзиным практически всем отечественным консерваторам, является опора на историю, включающая порой элементы ее мифологизации, а также преодоление «просвещенства» и галломании, ставшее в период Отечественной войны 1812 года и после нее важнейшим фактором роста влияния консервативных умонастроений. В этом отношении характерной является патриотическая позиция С.Н. Глинки, который до войны «затеял уверять, будто бы родился во Франции, а не в России» [4, с. 43], а в ходе войны и после нее заклеил позором «зловредный дух» французской революции и «лживых и неверных французов».

Что касается фигуры С.С. Уварова, то в альманахе он рассматривается прежде всего как интеллектуал и реформатор российского образования, создатель знаменитой «русской триады» «православие, самодержавие, народность», явившейся ответом на триаду Французской революции «свобода, равенство, братство». Этот акцент на научную сторону деятельности создателя русской триады, как представляется, позволил пересмотреть укоренившиеся стереотипы относительно мнимого уваровского авторства «официальной идеологии», появившиеся еще в советские времена. В действительности же триада Уварова была «русской формулой», своего рода рекомендательным «госстандартом», но никак не всеохватывающей официальной идеологией наподобие пресловутого марксизма-ленинизма. Уварова к тому же нельзя назвать единственным автором этой триады, которая не могла стать «идеологемой николаевского царствования» без одобрения со стороны царствующего дома и без пиар-поддержки многих журналистов и писателей, среди которых были такие деятели, как А.А. Краевский, Н.И. Надеждин, В.П. Андросов, В.Ф. Одоевский и др. В группе этой поддержки значился и В.Г. Белинский, который в 30-х годах XIX века был отнюдь не демократом, а идеологом сильной государственной власти [17, с. 155]. Особо отмечена в альманахе полузабытая в России, но получившая сильный европейский резонанс идея Уварова о необходимости перемещения геополитических интересов России в Азию, что явилось, по сути дела, первым выражением того варианта русского консерватизма, который стал известен в XX веке под именем евразийства. Идеи, высказанные в написанном

по-французски «Проекте Азиатской академии», были поддержаны Жозефом де Местром, и это еще раз подтверждает ту мысль, что европейский консерватизм питался русскими источниками [9, с. 134]. Именно Россия питала своим консерватизмом Европу, тогда как последняя питала Россию своим социализмом, который в итоге приобрел совсем не европейский облик.

## Литература

1. *Иванов А.А., Репников А.В.* «Предстоит... решительное столкновение германского мира с русским»: прогнозы и предостережения Клавдия Пасхалова // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 381–398.
2. *Иванов А.А., Репников А.В.* Русские правые в годы Первой мировой войны // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 308–331.
3. *Карамзин Н.М.* О любви к Отечеству и национальной гордости / Сост., предисл. А.Ю. Минакова. М., 2013.
- 3а. *Кондаков Ю.Е.* Фотий (П.Н. Спасский): философско-религиозные взгляды, общественно-политическая и церковная деятельность // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 67–131.
- 3б. *Котов А.Э.* «Средство борьбы и суррогат политики»: политическая публицистика М.Н. Каткова и его последователей // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 174–193.
4. *Лупарева Н.Н.* «Забытый патриот 1812 года»: общественно-политическая деятельность Сергея Николаевича Глинки // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 42–66.
5. *Лупарева Н.Н.* Отечестволюбец: общественно-политическая деятельность и взгляды Сергея Николаевича Глинки. Воронеж, 2012.
6. *Магницкий М.Л.* Православное просвещение / Сост., предисл. А.Ю. Минаков. М.: Ин-т русской цивилизации; Родная страна, 2014.
7. *Медоваров М.В.* Рецензия на книгу: *Иванов А.А.* Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–1917). М.; СПб.: Альянс-Архео, 2013. 520 с. // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 406–414.
8. *Мещерякова А.О.* Ф.В. Растопчин: у основания консерватизма и национализма в России. Воронеж, 2007.
9. *Мещерякова А.О.* Создатель русской триады: интеллектуальная биография С.С. Уварова // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 132–143.
10. *Минаков А.Ю.* Русская партия в первой четверти XIX века. М., 2013.
- 10а. *Минаков А.Ю.* Русские консерваторы в поисках «русской формулы» // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 33–41.
11. *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм первой четверти XIX в. Воронеж, 2011.
12. *Омельяничук И.В.* Черносотенное движение в Российской империи в 1901–1917 гг. // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 279–307.
13. *Перевезенцев С.В.* Идеи истоки русского консерватизма // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 11–31.
14. *Ростопчин Ф.В.* Мысли вслух на Красном крыльце. М., 2014.
15. Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010.
16. *Стогов Д.И.* Неформальные правые политические организации царской России в годы Первой мировой войны // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 334–343.
17. *Удалов С.В.* «Православие, самодержавие, народность»: идеологема николаевского времени // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 144–159.
18. *Хатунцев С.В.* Константин Леонтьев: интеллектуальная биография. 1850–1874 гг. СПб., 2007.
19. *Шириняц А.А.* К «феноменологии» консерватизма и не только // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 381–398.
20. *Шишков А.С.* Огонь любви к Отечеству. М., 2011.

*Аннотация.* Анализируется содержание альманаха «Вопросы истории консерватизма» (Воронеж). Издание демонстрирует происходящий в исторической науке «консервативный поворот» в истории идей. Автор объясняет причины этого поворота, определяет место альманаха в сложившейся в современной России «библиотеке русского консерватизма».

*Ключевые слова:* русский консерватизм, русская цивилизация, «православие, самодержавие, народность», консервативные партии в России, консервативные общественные движения, консерваторы в Государственной Думе, Первая мировая война, русская революция.

Mikhail Maslin, Ph.D. in Philosophy, Head of Department, Department of History of Russian Philosophy, Philosophy Department, Emeritus Professor, Lomonosov Moscow State University. E-mail: mmaslin@yandex.ru

### **Conservative Turn in the History of Ideas**

*Abstract.* The author analyses the contents of the “Aspects of the History of Conservatism” anthology (Vorirnezh). The publication demonstrates that the historical science is making “a conservative turn” in the history of ideas. The author explains the reasons of this turn and determines the place of the anthology in the current “library of Russian conservatism” in modern Russia.

*Keywords:* Russian Conservatism, Russian Civilization, “Orthodoxy, Autocracy, Nationality”, Conservative Parties in Russia, Conservative Social Movements, Conservatives in State Duma, The First World War, Russian Revolution.

## Новый Петров-Водкин, или Купание педального коня

Книга А.Н. Балдина<sup>1</sup>, вышедшая в юбилейный карамзинский год, посвящена восемнадцатимесячным странствиям Николая Михайловича по Европе и его знаменитому произведению «Письма русского путешественника», созданному по следам этих странствий. Автор размышляет о роли и значении Карамзина в истории русского языка и русской литературы.

Несмотря на то что А.Н. Балдин развивает довольно традиционные взгляды на творчество нашего великого соотечественника, для карамзиноведения «Новый Буквоскоп», несомненно, книга новаторская. Впечатление она производит несколько противоречивое. Это яркий, оригинальный текст, написанный сложным, насыщенным, богатым по своему строю, живописным по образности, языком, который хочется называть не иначе, как великорусским. Вместе с тем книга относится к области художественной литературы – в широком смысле данного понятия. Главный ее герой – «оптик» (с. 34), «чертитель» (с. 43) языка – убедителен, жив и реалистичен, однако – *выдуман*, а не реконструирован автором, хотя, конечно же, на основе реально существовавшего Н.М. Карамзина.

Труд А.Н. Балдина не есть научная работа, его нельзя назвать даже научным эссе, хотя он и содержит элементы анализа и некоторые черты научного подхода как такового; это – эссе художественное. Наполненное немалым числом глубоких мыслей и наблюдений, метких и точных, но крайне субъективное, трудноверифицируемое.

Вот один весьма характерный образец отношения автора к тексту карамзинских «Писем». Говоря об описании бури среди ясного неба под Лейпцигом 14 июля 1789 года, то есть в день взятия Бастилии, и рассуждая о том, достоверно ли это описание или же оно попало в текст задним числом, А.Н. Балдин пишет: «Чтобы выяснить этот вопрос, нужно погрузиться с головой в <...> черновики, оригиналы писем... Только так можно выяснить, совпадение это или позднейшая вставка Карамзина-редактора.

Не полезу ни в какие черновики.

Я – читатель; я верю писателю Карамзину» (с. 101).

При этом сам автор «Нового Буквоскопа» ранее констатирует, что «Письма...» – вовсе не дорожный дневник, но тщательно выверенное литературное произведение, *изображающее* дорожную переписку» (с. 57).

<sup>1</sup> Балдин А.Н. Новый Буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина. М.: Бослен, 2016. 272 с.



И все же трудно не согласиться со многими авторскими оценками. Например, с этой: «...Поход Карамзина в Европу был во многом его личным жестом. И хотя он пустился в путь с необходимыми рекомендациями и в процессе движения не раз пользовался партийными [то есть масонскими – С.Х.] знакомствами, писал письма, встречался, выполнял иные поручения, все же, думается, это странствие было в большей мере удалением Карамзина от масонов, нежели действием по их поручению или наущению» (с. 41).

Вот одно несомненное открытие А.Н. Балдина: он обнаружил и убедительно «расписал» «намеренное возражение» Карамзину Л.Н. Толстого в его знаменитом «Люцерне» (с. 133–135).

Чрезвычайно интересно и авторское размышление, согласно которому Париж составил для Москвы вторую после Царьграда метагеографическую икону – вкуса и стиля, французская же революция не отменила этой иконы, а скорее, наоборот, придала ей со временем новое обаяние (с. 189). Думаю, сей парадокс может быть объяснен только на глубинных путях философско-исторического, если не историософского, дискурса.

Любому, кто интересуется цивилизационной географией, то есть географическим устройством различных месторазвитий, цивилизационных ниш, будет интересна предлагаемая автором схема Европы – с Альпами в качестве центра и указанием на Рейн как на водный меридиан этого культурно-исторического континента (с. 44–45). Великая река пронизывает немецкий север Европы и меридианом метафизическим (с. 108). Рейн – «нерв», соединяющий горный череп Альп с «глазом», которым «внутренний ум Европы отворяется вовне». И «глаз» этот, естественно, Голландия-Нидерланды (с. 109).

Вообще говоря, культур-географические представления А.Н. Балдина – особый, весьма любопытный пласт содержания рассматриваемой книги.

Так, Москву он считает лежащей на краю европейского мира. Это «полюс Европы», где ко времени «запредельного странствия» Карамзина все еще «властвует сон разума» (с. 126). Но далее на восток вообще «проливается море Азии» (с. 46). Однако для России Москва «вовсе не край, но центр, точка симметричного тяготения собственного (воображаемого) материка» (с. 49). Она как будто «двоится между западом и востоком. В ней видны одновременно *предел* и *центр*. В глазах Европы она край, для себя – центр...» (с. 50). Но в таком случае, по логике автора, Россия является маргиналом в квадрате – азиатским захолустьем, окормляемым и управляемым восточноевропейской окраиной, пусть и пробудившейся от вековечного сна благодаря приобщению к живительным токам Запада.

В то же время «берегом Европы» видится А.Н. Балдину не Москва, а Дерпт (с. 76), «русским пределом» при этом представляется Нарва (с. 73), действительный край российского острова-континента, на запад от которого лежат переходные – лимитрофные – земли Прибалтики. Последнюю автор справедливо считает эдаким «краем полыньи», «пограничным, двуединым пространством», где земля «еще заметно качается между русским и нерусским материками» (с. 76), «между двумя стихиями» (с. 83). Двойственны, лимитрофны и «полурусский, полунемецкий» Кронштадт (см. с. 212), и Петербург – «Полуевропа», место «промежуточное и несовершенное» (с. 64).

Такую же «нервную путаницу пространств» автор находит не только на Балтике, но и в других приморьях России – в Архангельске, в Таганроге: «русский предел и там туманно-подвижен». Но «как многое меняется для нашего путешественника, стоит ему только перейти эту черту» (с. 91). Следуя из Московии в Германию, русский странник из «москвосферы» перемещается в «еврокуб» (с. 118).

Отметим, что, рассуждая о России-Московии, Франции, Германии, Швейцарии, Англии, А.Н. Балдин имеет в виду бестелесное, ментальное про-

странство, феномен «сознающего поля», которое «с некоторым приближением» соотносит с понятием «ноосфера» (с. 102). То есть говорит он, в сущности, о географически «привязанных» культурах, а также цивилизациях.

В глубины Старого света, «в страну святых чудес», как почти сто лет спустя назвал Европу Ф.М. Достоевский, будущий создатель «Истории государства Российского» погружается, «ныряет» (это, на мой взгляд, очень балдинский образ) «за словом» (см. с. 21). В путешествии ищет он «устройство языка – оптико-механическое, будто бы совершенное» (с. 169). Такова авторская концепция путешествия Николая Михайловича в Европу; Карамзин, по мнению А.Н. Балдина, сознательно отправился туда за «новым языком» для азиатской Московии, которая без него никак не могла окончательно и бесповоротно превратиться в новую, европейскую Россию.

Но это именно концепция, причем художественная от начала и до конца. Автор рассматриваемой книги не делает ни малейшей попытки не то чтобы доказать ее, но даже хоть как-то обосновать. Он лишь излагает свою, действительно оригинальную, версию – красиво, доверительно, «вкусно». При том что все это – чистейшая беллетристика в буквальном смысле слова (*фр.* belles lettres – «изящная словесность»).

Что же касается изображаемого А.Н.Балдиным «буквоскопа» – «особой «кинокамеры», смотряще-пишущее-понимающего прибора», который сам Балдин, «проговорившись», однажды называет «химерой» (с. 169), тут мы имеем дело с самым настоящим стимпанком<sup>1</sup>, в духе которого во многом написана и от начала до конца проиллюстрирована рецензируемая книга. Впрочем, стиль иллюстраций – это скорее «протостимпанк», поскольку царствует здесь не девятнадцатое столетие, а осьмнадцатое, век, когда эра пара еще только брезжила в творениях И.И. Ползунова, Дж. Уатта и прочих даровитых изобретателей, однако уже пробил час механических устройств, машин и приспособлений, которые заселяли и осваивали вселенную Исаака Ньютона. Здесь, кстати говоря, А.Н. Балдин весьма актуален – сейчас в среде «креативщиков» и в массовой культуре как целом наблюдаются явления, позволяющие говорить о стимпанке как о новой формирующейся субкультуре.

Но лично у меня буквоскоп ассоциируется отнюдь не с прибором, а вызывает образ «педального коня» – тоже вполне стимпанковского «персонажа». Автор создает этого «педального коня», выгуливает его, даже купает, тщательно фиксируя соответствующие процессы и умелой кистью перенося их на живописное полотно. В какой-то момент на страницах книги возникает картина «Купание педального коня». И поэтому ее автора – творца полотна, не забываемого ни для ума, ни для сердца, – уместно поименовать новым Петровым-Водкиным.

<sup>1</sup> Стимпанк (или же паропанк) – направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, основанную на «продвинутых» механике и технологии паровых машин. Как правило, для стимпанка присуща стилизация под эпоху викторианской Англии и раннего капитализма с характерным для них городским пейзажем. В произведениях стимпанка возможно наличие большей или меньшей доли фэнтези. Стиль «стимпанк» все шире распространяется в графике, иллюстрации, скульптуре, дизайне, в сфере компьютерных игр.



Альманах  
**Тетради по консерватизму**  
№ 4 2016

Редактор  
*Е.М. Кострова*

Художественное оформление  
*В.И. Кучмин*

Компьютерная верстка  
*А.В. Талалаевский*

<http://www.essaysonconservatism.ru/>  
[tetradipokonservatizmu@gmail.com](mailto:tetradipokonservatizmu@gmail.com)

Подписано в печать 14.11.2016. Формат 60x90 1/8. Усл. печ. л. 19,5.  
Тираж 200 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»  
127282 Москва, Полярная ул., д. 31В, стр. 1.  
Тел. 8 (495) 685-93-18